

АМАН МУХТАРОВ

ВОЛШЕБНИК

РАССКАЗЫ

Ташкент
Издательство ЦК ЛКСМ Узбекистана
«Ёш гвардия»
1986

М 4803010000—140 132—86
356 (04)—86

© Издательство «Еш гвардия», 1986.



СЕСТРЫ

— Как я устала! Хоть домой не являйся — сплошная первотрепка! — в сердцах воскликнула женщина в белом халате. Она сидела за столом в глубине кабинета напротив настезь распахнутого окна.

Другая женщина, протиравшая марлей коробочки для шприцов, оторвалась от работы и внимательно взглянула на собеседницу:

— Что случилось, Надира-апа?

— Родители житья не дают из-за Назакат. Все уши прожужжали. Тебя, мол, все знают, ты ей старшая сестра, вот и помогай. Прямо зло берет: взрослая девица, а шагу ступить не может самостоятельно. Что делать, ума не приложу...

Она встала и, попрощавшись, расстроенная, вышла из кабинета.

Старшая дочь, Надира, родилась накануне войны. Отец вскоре ушел на фронт, и все тяготы по ведению хозяйства легли на плечи матери.

Девочка сама ходила в детсад, потом в школу. И вообще, сколько она себя помнила, всегда находилась среди людей.

Младшая, Назакат, родилась уже после войны. Вся семья была в сборе. «Вот мы и вернулись живыми-здоровыми!»— нередко говаривал в ту пору отец. «Слава богу, кончились наши мучения!»— радовалась мать. Они решили взять воспитание младшей дочери в свои руки и, сами испытавшие немало невзгод и лишений, делали все, чтобы их любимая доченька ни в чем не нуждалась. До тех пор, пока Назакат не окончила школу, в семье это считалось совершенно естественным. Но пришло время, когда встал вопрос: что делать Назакат дальше, кем стать?

— Пускай Назакат тоже выучится на доктора,— решила мать, Ходия-хола.— Тебя, Надира, в ТашМИ все знают, помоги!

— Странная вы, мама,— с досадой ответила Надира.— По-вашему, это пара пустяков: звякнула по телефону кому следует, и — ваша доченька в институте. Да и потом, чтобы стать врачом, надо любить эту профессию. А я что-то не замечала за Назакат особого интереса к ней. Если вам так хочется, чтобы она стала врачом, давайте я устройю ее медсестрой в больницу. Пусть поработает, узнает, что это такое, а потом уж и решает.

— А что, моя дочь хуже других, что ли? Успеет еще наработать. У нее вся жизнь впереди,— обиделась мать.

— Послушай, Надира,— поддержал жену Болта-

ака,— только не надо делать вид, будто ты вчера родилась. Разве мы не знаем, как сейчас в институты поступают? Ты ведь ей не чужая. Помогите!

Не пускайся в долгие споры с родителями, Надира решила поговорить обо всем с Назакат с глазу на глаз.

И вдруг поймала себя на мысли, что она, в сущности, совсем не знает младшую сестру. Разница в годах, учеба в институте, потом работа, семья — у Надиры всегда хватало собственных забот. Конечно же, она любила сестренку, видела, что та неглупа, неплохо учится, но вот какая она, что у нее на душе, каковы планы на будущее, стремления — это оставалось тайной. В школе Назакат изучала персидский язык, неплохо усвоила его, писала, словно настоящий каллиграф. Может, ей лучше попытаться поступить на востфак?

— Мама с папой хотят, чтобы я стала врачом,— ответила на это Назакат.

— Да при чем тут мама с папой?!— вспыхнула Надира.— Сама-то как думаешь? Жить-то тебе.

— Я знаю только одно: в этом году я должна поступить в институт, в какой угодно...

— Пойми, чтобы стать врачом, нужно иметь к этому призвание, любовь. А что ты знаешь о профессии врача? Это все равно, что выйти замуж за нелюбимого человека. Не пришлось бы потом расплачиваться всю жизнь!..

— Если не хотите помочь, так и скажите. Нечего мне мораль читать, я уже не маленькая,— холодно отрезала Назакат.

Эгоизм, холодная рассудочность сестренки больно ранили Надиру. «А ведь в том, что она выросла такой, есть и моя вина»,— с горечью думала она. А в доме каждый день слышалась одна и та же песня: помогите!

«Ладно,— решила, наконец, про себя Надира,—

попробую сделать, что смогу, а об остальном пусть сама беспокоится. Если поступит, может, и интерес постепенно появится, глядишь, станет неплохим врачом».

Она помогала Назакат готовиться к экзаменам, замолвила за нее словечко знакомым преподавателям в приемной комиссии, и Назакат поступила.

Но напрасно Надира, успокаивая свою совесть, надеялась на лучшее. Училась Назакат кое-как, перед каждой экзаменационной сессией Надира опять слышала от родителей знакомое: «А еще старшая сестра, погляди на сестренку, на ней лица нет от этих экзаменов, помогла бы!» И Надира, как ни противилась, вновь была вынуждена просить за сестру. Так Назакат и проучилась вплоть до окончания института.

Когда она получила диплом, а вместе с ним и направление в областную больницу, в доме поднялся форменный переполох. Как же это так — всеобщая любимица поедет в какую-то глухомань? Разве для этого училась целых шесть лет?

И вновь Надиру взяли в железные тиски: ты ведь не кто-нибудь, а кандидат наук, у тебя авторитет, помоги сестренке, сделай что-нибудь!

«Когда же кончится эта нервотрепка, когда?!» — тоскливо думала Надира.

* * *

Назакат начала работать в одной из городских поликлиник. Родители больше не терзали Надиру, и та как будто успокоилась, но в глубине души затаилась неизъяснимая горечь. Порой наблюдая, как Назакат с увлечением читает книгу на фарси или выводит арабскую вязь, она думала, что из сестренки получился бы неплохой филолог или переводчик. Иногда Надира хотелось поделиться своими мыслями с сестрой, но..

Она вообще перестала разговаривать с Назакат, интересоваться ее судьбой...

* * *

Однажды, закончив прием, Надира вышла из больницы, где работала, и вдруг на крыше старенького глинобитного дома, стоявшего напротив, увидела нежный бледно-розовый тюльпан, покачивающийся на ветерке. На душе вдруг стало светло и радостно, захотелось побродить по весенним улицам. Отчего-то вспомнилось, что Назакат уже полгода как работает, а она так и не побывала у нее в поликлинике. Обиды на сестренку показались ей нелепыми. В самом деле, довольно дуться! Надо поглядеть, как идут у нее дела, ободрить, да и вообще — помириться, хотя они и не ссорились.

С этими мыслями она вошла в белое трехэтажное здание поликлиники.

Кабинет Назакат находился на втором этаже, в левом крыле. Здесь Надира увидела внушительную, нетерпеливо гудящую очередь.

— Изнутри заперлись...— сердито пояснил кому-то тощий мужчина с болезненным лицом.

— Может быть, там пациент?— спросила Надира.

— Да нет там никого! После обеда еще никого не принимали,— раздраженно ответил мужчина.

— Разрешите...— Надира протиснулась к двери и требовательно постучала. Дверь отворилась. На пороге показалась молоденькая медсестра. Увидев Надиру, она изумленно округлила глаза и вскрикнула:

— Ой, проходите!..

Затем обратилась к очереди:

— Тише, тише... Это врач!

Надира быстро прошла мимо нее в кабинет. Назакат сидела за столом и любовно красила ногти лаком.

— Тебя больные ждут, а ты прихорашиваешься!..— гневно бросила Надира, даже не поздоровавшись.

— Подумаешь — ждут! — слегка покраснев, ответила Назакат. — С самого утра принимаю, а им все равно конца нет...

У Надиры потемнело в глазах. Быстро подойдя к столу, схватила флакончик с лаком и швырнула его в раскрытое окно.

— Немедленно принимайся за работу! — резко потребовала она. — Я не стану отнимать у тебя драгоценное время... Но дома еще поговорим... И к главврачу зайду, попрошу, чтобы тебя наказали как следует.

Перепуганная медсестра поспешно открыла дверь: — Чья очередь, заходите, пожалуйста...

Надира направилась было в кабинет главврача, но у самой двери решимость покинула ее: «Да ведь ты сама привела сюда свою милую сестричку, прошу, мол, любить и жаловать!»

Надира повернулась и пошла прочь. От праздничного настроения, с которым она шла сюда, не осталось и следа.

Ее жег стыд, стыд за сестру, за свою собственную покладистость. Мысли Надиры путались. Это она во всем виновата, только она. Не хватило мужества настоять на своем. И вот что из этого вышло. Ведь она-то, Надира, с самого начала чувствовала, что этим все кончится. Неужели ничего нельзя поправить? Разве нельзя Назакат переменить профессию, попытаться найти свой путь в жизни? Но как это сделать? Как?

Сейчас Надира думала не только об одной Назакат. Сколько еще на свете людей, порой неглупых, по-своему добрых, но безразличных, равнодушных к своей работе! И сами мучаются, и делу вредят. А ведь у каждого наверняка есть свое призвание, доверившись которому, человек мог бы жить полнокровной, интересной

жизнью. Но в том-то и суть, что каждый должен найти свое призвание сам.

Не в нашем ли мнимом великодушии, тепличной опеке причина того, что вокруг так много бездарных врачей, учителей, инженеров...

Переполненная горькими мыслями, Надира вернулась к себе в больницу. В кабинете сидела медсестра, приводившая в порядок истории болезней.

— Ой, что вы сегодня рано, Надира-апа?— удивилась она.

Не в силах оставаться наедине со своими мыслями, Надира рассказала медсестре о Назакат.

— Что вы теперь собираетесь делать?— сочувственно спросила медсестра.

Надев белый халат, Надира подошла к раскрытому окну.

— Я очень виновата, что пошла на поводу у родителей, не смогла внушить им, что Назакат должна сама найти свою дорогу в жизни. Впрочем, это еще не поздно поправить. Попытаюсь объясниться с домашними. А не поймут... Переедем с мужем куда-нибудь в другое место...

— А какая от этого польза?

— Вот переедем, тогда им самим придется всерьез задуматься о будущем Назакат...— Надира замолчала и после долгой паузы добавила.— Так жить дальше нельзя...

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕТСТВО

— Мне нужен Карим Мурадов,— войдя в кабинет, твердо проговорил посетитель — высокий, полноватый мужчина средних лет.

— К вашим услугам,— Мурадов указал на свободное кресло.

— Мне нужно сказать вам кое-что.

— Пожалуйста...

— Не здесь,— посетитель покосился на секретаршу и тихо добавил:— По секрету...

Заинтересованный, удивленный и несколько обеспокоенный странной просьбой, Карим поднялся и последовал за посетителем.

Погода стояла ясная, нежаркая. От молодой листвы веяло свежестью.

Они сели на одну из скамеек в тени деревьев.

— Извините,— заговорил после паузы посетитель.— Вы родом из Бухары, не так ли?

— Так...

— Из Джондора...— уточнил посетитель.

— Нет, из самого города...

— Из Джондора!— упрямо повторил посетитель.

— Из Джондора так из Джондора,— примирительно ответил Карим. И добавил уже резко:— Какое это имеет значение?

Посетитель задумался, будто не заметив, что собеседник готов вспылить.

— Если вас не затруднит, расскажите мне, пожалуйста, о себе,— с простодушной настойчивостью попросил незнакомец.

Было в его голосе нечто такое, что располагало к искренности, откровенности.

— О чем именно? — спросил Карим.

— О вашей жизни. Коротко...

Просьба, конечно, звучала более чем странно, и все же Карима охватило чувство, будто между ним и незнакомцем шла некая занятная игра, правила которой лучше узнавать постепенно. Не слишком серьезно он начал.

— Родился и вырос я в Бухаре. Учился в школе,

Потом два года работал на заводе. На хлопкоочистительном... Приехал в Ташкент, продолжил учебу. Сейчас работаю в профсоюзе... В Бухаре у меня родители, сестры, братишки. Здесь у меня квартира, семья... Вот так...

— Выходит, у вас и родственников в Джондоре нет?

— Нет. Я вообще плохо знаю Джондор. Был там раза три-четыре. По работе...

Воцарилось долгое молчание.

— Мы под Джондором целину поднимаем,— наконец, задумчиво проговорил посетитель.— Есть у меня один давний друг. Учитель. Сосед мой. Когда он узнал, что я собираюсь в Ташкент, то попросил непременно встретиться с вами...

— Что ему от меня нужно?

— Когда-то их было три брата. Двое живут в Джондоре до сих пор. А младший потерялся во время войны...

— А-а... видимо, он хочет, чтобы я помог ему разыскать братишку?— предположил Карим.

— Нет. Дело в другом. Они, как и вы, Мурадовы. Они думают, что вы — и есть их младший...

— Вот как!— Карим даже растерялся от неожиданности.— Но как они вообще узнали обо мне?

— Вы как-то выступали по телевизору, сказали, что родом из Бухары. И внешне на них похожи. Кроме того, фамилия... Да и возраст совпадает...

Опять установилось молчание.

Мысли Карима путались. А ведь с Джондором у него связано гораздо больше, чем он сказал об этом посетителю... Смутное воспоминание раннего детства... Кроме того, как и у большинства горожан, у Карима тоже были родственники, проживающие в окрестностях Бухары... И все же — вряд ли столь нежданная гипотеза может подтвердиться.

Карим не хотел сейчас усложнять разговор.

— Как вас зовут?

— Махмуд...

— Вот что я вам скажу, Махмуд-ака. Это ошибка, поверьте.

— В жизни всякое случается. Быть может, вы просто не знаете о некоторых обстоятельствах.

— Да нет же. Я вас уверяю!

— Ладно, что же мне передать Мурадовым?— тихо спросил Махмуд-ака.

Карим не смог ответить сразу на этот вопрос. Будто некие незримые нити вдруг связали его с однофамильцами из Джондора.

— Ничего пока не говорите,— сказал он после долгой паузы.— Я сам с ними встречаюсь. Скоро поеду по делам в Бухару. И обязательно встречаюсь.

* * *

Карим всегда хорошо знал: его мать была родом из Каттакургана, отец — из Джондора. Сам Карим родился в Бухаре, но многие родственники жили не только в городе, но и в окрестных кишлаках.

После того, как Карим кончил институт и остался работать в Ташкенте, он все реже бывал в родных местах.

На период отпуска обычно подворачивалась путевка, а он любил попутешествовать, так сказать, посмотреть мир. Лишь командировки время от времени приводили его в Бухару. И всякий раз при этом возникало ощущение: здесь, где прошло его детство, находятся и его корни.

Приезжая в Бухару, он чувствовал себя безмерно счастливым.

До встречи с Махмудом-ака жизнь Карима текла размеренно и спокойно. В сущности, Кариму было несложно отмахнуться от сомнительных предположений посетителя и постараться забыть о них. Но, будучи от природы человеком впечатлительным и отзывчивым, он пришел к убеждению, что обязан разобраться в этом деле до конца.

Примерно через месяц после неожиданного визита Карима командировали в Бухару. Тогда-то он и решил, что, выполнив задание, обязательно побывает в Джондоре.

Сидя в автобусе, направляющемся в Джондор, он вспомнил, что когда-то там жили — нет, не вообще некие дальние родственники, а дяди отца, и что впервые его возили к ним в шестилетнем возрасте. Мелькнуло смутное воспоминание о большом тенистом саде. Тогда еще поспел инжир, а через сад протекал арык с ледяной водой...

Сойдя с автобуса в центре Джондора, Карим отыскал школу, где учительствовал друг Махмуда — Мурадов. Как раз прозвенел звонок на перемену.

Мурадов оказался симпатичным смуглолицым человеком с черными улыбающимися глазами. Внешне он и в самом деле чем-то походил на Карима, и вообще, при известном воображении, мог быть принят за его старшего брата.

Карим представился. Мурадов ответил тепло и радушно, попросил немного подождать. Затем, переговорив с учителем, стоявшим в окружении галдящей ребятни, вернулся к Кариму: «Пойдемте».

Они вышли на улицу. Здесь стояла машина Мурадова. Он предупредительно распахнул перед гостем дверцу.

Машина помчалась вперед.

— Простите, куда мы едем?— нарушил молчание Карим, когда Джондор остался позади. Кругом простиралась степь.

— К моему старшему брату,— ответил Мурадов,— а после вернемся... Не волнуйтесь, это не очень далеко. Некоторое время они ехали молча.

Карим уже начал терять терпение, когда Мурадов неспешно заговорил.

— Мы рано лишились родителей. Три брата... Старший ушел на фронт. Меня отправили в Бухару, в детдом. Младшему в ту пору было годика два-три. Его взял на воспитание наш дальний родственник, живший одиноко. Но вскоре он отказался от своего намерения. Кажется, он серьезно заболел... В точности неизвестно, что именно там произошло, но так или иначе малыш попал в детдом, который открыли в Джондоре. Нам так и не удалось разыскать его...

— А разве тот родственник не справлялся о ребенке?

— Возможно, справлялся. Но ведь детей могли перевезти из Джондора в другое место... К тому же старик вскоре умер.

— Значит, вашего братишку звали Каримом?

— Нет. Его имя — Хиром...

— Почему же вы справлялись обо мне?

— На слух оба имени схожи. Вот мы и подумали... К примеру, дома меня звали Бахрамом. А в детдоме записали по ошибке — Барат.

Через полчаса машина подъехала к небольшому кишлаку. Бахрам остановил машину перед воротами усадьбы. Поблизости, видимо, проходила железная дорога: слышался стук колес.

Хозяин возился во дворе с саженцами. Увидев гостей, он отряхнул пыльные руки и пошел навстречу.

Бахрам представил их друг другу.

— Это мой старший брат Муслим, а это — Карим.

Муслим был чуть пониже брата, более худой, но глаза у него были такие же черные и глубокие. Карим пристально посмотрел на него и вновь испытал странное ощущение: внешностью, манерой держаться Муслим походил на него самого...

Хозяин провел гостей в дом. За дастарханом они опять вспомнили военное лихолетье, разлуку. И тогда Карим сказал то, что было у него на душе:

— Ну вот, мы и познакомились... Я сделаю все, что в моих силах и вместе с вами постараюсь отыскать вашего младшего брата. Будем надеяться на лучшее.

* * *

Карим родился летом 1940-го.

Хоть он и был в суровую годину несмышленищем, но и его ребячье сердце окропили слезы людей, потерявших родных и близких, в ушах его застыли горькие рыдания матерей. Запали в память гордые и вместе с тем какие-то жалкие, истерзанные войной калек и инвалиды, стук их костылей и скрип колясок.

В последние годы он побывал на Кавказе, в Крыму, в Белоруссии, Молдавии, на Украине — и всюду встречал памятники и обелиски, с волнением читая на мраморных плитах имена парней, отдавших жизнь за Родину. Нередко в общем списке встречались узбекские фамилии — Ахмедов, Батыров, Саттаров...

Однажды Карим узнал, что среди тех, кто вез подарки узбекских детей их сверстникам в осажденный Ленинград, был и поэт Амин Умарий. Он с детства любил стихи этого поэта, многие знал наизусть, и поэтому известие сразу же заинтересовало. Летом Карим поехал в Ленинград и там узнал еще об одной истории.

Есть под Ленинградом большое Ладожское озеро. В войну оно было единственной дорогой в осажденный город, по которой доставлялись продовольствие, одежда, медикаменты, а также подкрепление. Но и эта дорога была опасной. До сих пор на дне озера покоится немало затонувших машин, самолетов и пароходов. В числе последних был и пароход «Узбекистан»... Его название тоже выбито на гранитном камне, венчающем братскую могилу на самом берегу озера.

Карим часто вспоминал скорбный камень, и порой ему казалось, будто все его земляки, не вернувшиеся с войны, утонули на том пароходе.

И вот после знакомства с Мурадовыми и возвращения из Джондора раздумья о войне и мире вспыхнули с новой силой. Карим ощущал себя человеком, который лицом к лицу столкнулся с войной.

Он обошел архивы Бухары. Ни в одном не удавалось найти сведений о малолетних сиротах.

Наконец, мелькнула слабая надежда.

В горно он познакомился с пожилой женщиной, ведающей архивом.

— Вы не знаете, были ли во время войны какие-либо учреждения для малолетних помимо детдомов?— спросил у нее Карим.

— Да, были,— уверенно ответила собеседница.— Их называли «детскими комнатами»... Что-то вроде детсадов-яслей.

— Быть может, сохранились какие-нибудь документы о них?

— К сожалению, нет...

— Вы уверены?

— «Детские комнаты» быстро закрыли. А большинство ребят перевели в детдома...

— А о детдомах документы есть?— Карим подумал, что Хиромы определенно перевели из Джондора в

какой-нибудь детский дом, и, возможно, его имя и фамилия где-нибудь зафиксированы.

— Конечно. Но и их немного.

Сотрудница принесла тощую стопку из четырех-пяти тетрадок.

— И это все?— удивился Карим.

— Да... Знаете ли, условия были тяжелыми, многих детей регистрировали на обертках из-под чая, масла, а после все это потерялось. Кто в ту пору думал о бумажках? Важнее было сохранить самих ребят...

Медленно, с волнением Карим принялся листать тетради. Страницы пожелтели от времени, многие были надорваны. Записи, сделанные то чернилами, то карандашом, во многих местах совершенно стерлись.

Раньше Карим считал, что фамилия Мурадов встречается довольно редко. Но в тетрадках было около сотни ребят с такой фамилией. И когда Карим подумал, что в одной только Бухаре и под одной только фамилией Мурадов было столько сирот, в горле у него запершило.

Он искал, но не мог найти Хирому Мурадова.

Тогда он коротко рассказал собеседнице о своих поисках.

— Это трудный вопрос,— задумчиво проговорила она.— Во-первых, неизвестно, остался ли мальчик жив. Что скрывать правду, в те годы столько детей перемерло. Во-вторых, вы сами видите, документы полностью не сохранились. Извините, но весьма сомнительно, что ваши поиски закончатся успешно. Кроме того, мальчика могли взять на воспитание, дать ему другое имя. Такое тоже случалось. Представьте, что с Хиромом было именно так. Стоит ли нарушать покой людей, бередить их души?

Последние слова ошеломили Карима. До сих пор он как-то не задумывался об этой стороне вопроса...



Однако, вернувшись в Ташкент, он продолжил поиски Хиромы. Но теперь он стал делать это деликатнее.

В жизни Карима наступила необычная пора.

Среди его друзей было несколько журналистов, частенько колесивших по всему Узбекистану. Он обратился за помощью и к ним, попросил повсюду наводить справки.

Все свободное время он проводил в архивах.

Теперь он внимательней разглядывал каждого посетителя, прислушивался к разговорам. Иногда ему казалось, что в один прекрасный день на пороге его кабинета неожиданно появится сам Хиром, как недавно появился Махмуд-ака.

Прежде фамилия Мурадов не вызывала в нем особых эмоций.

Теперь же, услышав о каком-нибудь своем однофамильце, он подолгу не мог успокоиться, воображая того, пусть дальним, но родственником...

Он и прежде часто видел во сне суровые воды Ладоги, камень на братской могиле.

Но после поездки в Джондор эти сны стали какими-то другими. Гладь озера волновалась, на поверхность медленно всплывал белоснежный пароход «Узбекистан» и, рассекая волны, легко скользил по волнам...



Братья Мурадовы прислали письмо. Карим ответил. Потом Мурадовы приехали в гости. Как говорится: один раз увидишь — знакомый, два раза увидишь — родственник.

Потом Кариму снова пришлось побывать в Бухаре. И он опять поехал в Джондор, неожиданно угодив в

этот раз на большой той. Карим не знал виновника торжества, но братья Мурадовы уговорили его пойти с ними.

Поначалу все шло как положено: гостей радушно встретили, с уважением усадили в тойхане на почетные места. Попросили не скучать и, пока не собрались остальные, принесли зеленый чай.

Когда торжество было в самом разгаре, слово неожиданно предоставили гостю из Ташкента. Карим не сказал ничего особенного: поздравил хозяев, пожелал им успехов и счастья. Но его тут же обступили со всех сторон.

— Отличный тост! Спасибо!— слышались голоса.

Несколько удивленный этой восторженностью, Карим огляделся и понял причину повышенного внимания к собственной персоне.

— Мы слыхали о вашей истории, Хиром...

— Молодчина, односельчанин!

— Какая удача, что после стольких лет вы встретились с братьями!

— Молодец, Хиром!

Карим даже растерялся. В этот момент среди праздничного шума до него вдруг донеслись слова старшего Мурадова, который рассказывал соседу о своем среднем брате — Бахраме:

— Когда я разыскал его, он отказался идти со мной. Сбежал. Ох, и измучился я, пока привел его домой...

Вон оно, оказывается, как было. Карим удивился: почему Бахрам так повел себя? Неужели предпочел сиротство родному дому?! Нет, тут что-то другое... Видимо, Бахраму, как и любому другому на его месте, нужно было время, чтобы свыкнуться с переменой в судьбе.

Карим не стал ничего разяснять. Он ясно чувство-

вал: ему просто не поверили бы. Собравшимся очень хотелось видеть в нем земляка.

Но на этот раз Карим вернулся в Ташкент встревоженным. И так, жители кишлака уверены, что он — брат Мурадовых. Они считают, что он не говорит об этом в открытую только потому, что еще не свыкся с новым положением. Но это, по их мнению, рано или поздно все равно произойдет. Наверняка сами Мурадовы охотно поддерживают эту версию... Почему не посоветовались с ним? Обидно...

Несколько дней после возвращения он нервничал, был какой-то взвинченный. Но в конце-концов успокоился. Карим сказал себе, что не имеет никакого морального права сердиться на Мурадовых — этих симпатичных добрых людей — только за то, что они посчитали его своим младшим братом и свято верят в собственную выдумку. И односельчан, болеющих за земляков душой, тоже глупо винить.

А разве он сам не верил, что Хиром жив и непременно найдется, разве не разыскивал его несколько месяцев?! Так стоит ли удивляться, что и другие надеются на это многие годы?! Быть может, кто-нибудь из Джондора тоже побывал на берегу Ладоги, и тоже видит в тревожных снах пароход «Узбекистан», легко скольльзящий по волнам.

Карим решил вести себя так, будто ничего не произошло, и поддерживать с Мурадовыми прежние добрые отношения. Он нашел твердую позицию: «Пусть Мурадовы не верят, что я им чужой, пусть считают, что я их братишка, пусть даже говорят об этом окружающим. А я молча буду искать Хиром. И как только найду, все сразу же встанет на свои места».

Через несколько дней Карим получил письмо. Обратный адрес был ему неизвестен. Вскрыв конверт, он прочитал:

«Ассалом алейкум, уважаемый тогаджан!. Как поживаете? Как здоровье?*

Не удивляйтесь, пожалуйста. Пишет вам сын Вашей двоюродной сестры Гуландом из Каракуля — Балтабай. Дорогой тога, Вы, оказывается, были в гостях у моего дяди Бахрам-бая. У него-то я и взял Ваш адрес. Если Вы не побываете и у нас, мама очень обидится. Она много рассказывала о Вас, о Вашем трудном детстве... Ладно, эти времена давно прошли. Приезжайте, теперь мы больше не потеряемся, будем навещать друг друга. Тога, я знаю нескольких Ваших друзей, с которыми Вы вместе учились в Ташкенте. У них есть Ваши фотокарточки. Они приносили, показывали.

Ладно, дорогой тогаджан, на этом я заканчиваю свое письмо. Короткое получилось. Если есть ошибки, простите. До свидания, тога, будьте здоровы. С нетерпением буду ждать ответа.

Ваш племянник БАЛТАБАЙ».

Прочитав письмо, Карим растерялся, как и после тоя в Джондоре. Появилось чувство, что все эти дни он пытался обмануть самого себя, остаться нейтральным в ситуации, в которой от него ждали решительного поступка. Но пассивность его не спасет. Он должен сделать выбор: либо признать себя братом Мурадовых, либо убедить всех, что произошла ошибка. Третьего не дано.

Неожиданно его мысли потекли по новому руслу. Предположим, он, Карим, будет и впредь молчаливо поддерживать версию. Чем все это может кончиться? В один прекрасный день люди, которые хорошо знают его биографию, посчитают Карима обманщиком, афе-

* Тога, тогаджан (узб.) — дядя.

ристом, выдающим себя за брата совершенно чужих людей, чтобы без зазрения совести пользоваться их помощью и гостеприимством. И это еще полбеды.

Ведь слухи, распространяемые в Джондоре, рано или поздно достигнут Бухары, где молва легко кочует из дома в дом. Как он посмотрит в глаза родителям? Что скажет своим настоящим сестрам и братьям?

Карим места себе не находил.

Если бы он и вправду оказался младшим братом Мурадовых, то, наверное, терзался бы меньше. Поехал бы в Джондор, бросился бы в объятия братьев, без промедления ответил бы родственникам... Но как поступить в теперешнем безвыходном положении? Невозможно развеять в прах многолетнюю надежду людей. Но ведь нельзя и оставаться чьим-то братом, не будучи им на самом деле.

А что, если бы он и вправду оказался братом Мурадовых, что тогда?!

Постепенно эта мысль полностью овладела Каримом, он не мог избавиться от нее.

И в его душе впервые зародилось сомнение, а Карим ли он?

До этого времени Карим никогда всерьез не задумывался о своем прошлом, ему и в голову не приходило, что иногда стоит об этом поразмыслить. Как и всякий спокойный, благополучный человек, он жил настоящим, строил определенные планы на будущее. На прошлое...

И вот теперь, чтобы избавиться от сомнений и прийти к определенному решению, он предпринял попытку оживить в памяти детские годы.

Карим был пятым ребенком, но единственным мальчиком в семье. Отец ремесленничал, мать подрабатывала шитьем. Даже хлеба — особенно в тяжелые военные годы — не хватало, не говоря уже о новой одежде.

Члены семьи, садясь за дастархан, делили, как говорится, одну изюминку на сорок частей.

Дом больше походил на сырой и темный сарай. Но никто не назвал бы эту семью несчастной. В этом ветхом доме, освещенном тусклым светом керосиновой лампы, царила светлая, добрая атмосфера. Это особое настроение было во многом связано с отцом. С малых лет познавший сиротскую долю, сполна хлебнувший «милостей» эмира, он отличался прямодушием, спокойствием и состраданием к людям. Невозможно было представить, что отец поднимет руку на детей или оборвет их на полуслове злым окриком. Конечно, случалось, он сердился на детей и тогда садился в сторонке на корточки и ждал, когда они сами устыдятся и попросят прощения. Но, пожалуй, главная его черта — умение довольствоваться малым, терпеть. Это качество передалось и его жене, и детям. Наверное, поэтому даже в самые тяжелые времена их дом не покидал покой, в нем нередко слышались шутки и смех.

Карим смутно вспоминал, как играл во дворе или на узенькой пыльной улице, по которой время от времени со скрипом медленно проезжала арба. В те годы летом было так жарко, что земля жгла босые ноги, а зимой частенько выпадало столько снега, что невозможно было открыть ворота. Или это только казалось?

Однажды отец, надеясь, видимо, на перемены к лучшему, перевез семью в кишлак под Каганом, но вскоре они снова вернулись в Бухару. Карим припоминал, что в том кишлаке, затерянном среди бескрайней степи, он бегал по чокчоватому пастбищу, лазал на деревья, нырял в мутные воды арыка.

Доводилось ему ездить с отцом и в другие кишлаки, расположенные в окрестностях Гиждувана и Кизилтепе, где жили их родственники. Извилистые проселки...

Возвышенности, похожие на верблюжьи горбы... Путники верхом на лошади или муле, очень похожие на Ходжу Насреддина... Потом кишлак: дворы, обнесенные дувалами, дома с плоскими крышами... Теперь все это вспоминалось будто полузабытая сказка, слышанная в детстве.

В свои пять-шесть лет он был довольно проворным мальчуганом. Бежал за проезжающей по улице арбой, прыгал с крыши, за что мать частенько драла ему уши.

Но вот кончилась беззаботная пора.

В студеные зимние дни с лоскутной сумкой через плечо брел он по глубокому снегу в школу, а летом ошипывал коконы на сортировочной фабрике, помогал по хозяйству. Затем — ремонтные мастерские, хлопкоочистительный завод, институт. Это уже помнилось ярче, подробнее, с фотографической точностью.

В доме к Кариму относились с особой заботой, может, именно оттого, что он был единственным сыном в семье. Как ни странно, такое отношение породило в его душе зыбкое чувство отчужденности. Он всегда был погружен в себя, мог подолгу пребывать в одиночестве — и чем больше внимания выказывали ему дома, тем больше он капризничал и раздражался. Кроме того, его тяготила бедность семьи. Он с радостью покинул родительский дом, отправившись на учебу в Ташкент и уверовав, что теперь-то все будет зависеть только от него самого.

Лишь много лет спустя, когда он, как говорится, встал на ноги, то начал понемногу оттаивать, дорожить ценить все, связанное с родителями и сестрами. И все же до конца преодолеть былую отчужденность он так и не смог. Ни с кем из родных он никогда не был предельно откровенным, хотя иной раз остро желал этого.

И вот теперь, может быть, впервые в жизни он почувствовал, что находится в неоплатном долгу перед

родными, что его сыновья чувства долгое время были подобны высохшему саду.

Отчего же эти мысли пришли к нему так поздно?

Не в том ли причина, размышлял далее Карим, что он все же был нербдным в семье и инстинктивно ощущал это? Ведь не исключено, что он действительно был сиротой и что однажды его привезли из Джондора в Бухару, где малыша взяла на воспитание добрая семья. Могло все произойти именно так? Могло!..

А возможно, зная, что глава семьи мечтает о сыне, его джондорские родственники сами привезли ему осиротевшего мальчугана. Возможно, именно для того, чтобы проверить, помнит ли Карим Джондор, отец возил его туда в детстве.

А что, если... Кариму вспомнился один давний разговор в доме. Отец рассказывал, как однажды зимой принес из роддома одну из дочерей, завернув ее в чапан. «А меня» — поинтересовался Карим. «И тебя тоже», — как-то неохотно ответил отец. Но ведь Карим родился летом... Позднее он несколько раз спрашивал, где же он родился — дома или в больнице, но ясного ответа так и не получил.

На вопросы, касающиеся его рождения, родители всегда почему-то отвечали неопределенно.

И все же подобные выводы казались Кариму сомнительными. Если бы он был сиротой, то, став взрослым, так или иначе узнал бы об этом.

Нет, он — Карим. Он может разыскать Хирома, но стать Хиромом не может...

* * *

Но странное дело... Месяца через два Карим снова поехал в Бухару по делам и... почувствовал, что выяснение истории собственной жизни интересует его больше, нежели поиски Хирома.

Как-то раз он остался дома наедине с отцом — самое время поговорить по душам. Его сжигало желание расспросить отца. Но он так и не смог решиться на это...

Потом он вознамерился поговорить с матерью и старшими сестрами, и даже со старушкой-соседкой, которая когда-то была акушеркой и принимала почти все роды в махалле.

Но всякий раз дальше намерения поговорить дело не шло...

Он боялся. Боялся, что, пытаясь выяснить истину, он сделает несчастными родных, как в свое время не смог обрадовать джондорских Мурадовых.

И все же желание узнать об истоках собственной судьбы крепло с каждым днем.

На этот раз он не собирался ехать в Джондор. Здоровье родителей заметно пошатнулось. К тому же он обещал навестить одноклассника.

И все же какая-то неодолимая сила вновь погнала его в путь.

Приехав в Джондор, Карим тут же пожалел об этом. Не покидало беспокойство за родителей. Тяготило, что нарушил слово, данное однокласснику. И вдобавок он осознал, что глупо искать здесь истину, которую не смог найти ни в Ташкенте, ни в Бухаре.

Его настроенные передалось и братьям Мурадовым. Разговор за дастарханом не клеился. Похоже, им так и не найти общий язык.

Ночью Кариму снились тревожные сны. А ранним утром он собрался в обратный путь.

В этот момент в воротах показался старый знакомый — Махмуд-ака. Узнав, в чем дело, он с подчеркнутой бесстрастностью кивнул и вызвался отвезти Карима на машине в город, а потом в аэропорт.

Карим неохотно согласился.

По дороге они почти не разговаривали.

Родителей Карим нашел совсем расхворавшимися, они лежали на кроватях в разных углах комнаты. Он ощутил жгучий стыд, что поехал в Джондор, бросив родителей в таком состоянии, и что, несмотря на их болезнь, должен вернуться в Ташкент. И ему вдруг показалось, что он всегда эгоистично относился к ним и продолжает так относиться до сих пор.

Обычно Карим уезжал из родительского дома со спокойной душой. Но нынче сердце сжалось от боли, когда промелькнула мысль, что, возможно, он видит отца и мать в последний раз.

Выйдя с Махмудом из дома, он быстро направился к машине. Но через несколько шагов остановился и обернулся.

Отец и мать стояли на пороге и смотрели ему вслед. Отец был во всем белом, его совершенно седые волосы и борода слегка трепетали на ветру, мать куталась в большой платок, отчего ее лицо казалось совсем крошечным.

Они напоминали старика и старуху, которые, провожая сына в далекий путь, уже не надеются на встречу с ним.

Карим помахал им и, отвернувшись, украдкой смахнул слезу.

Машина тронулась с места.

— Зачем вы взвалили на мои плечи этот груз, Махмуд-ака?!— обратился он к спутнику.— Измучился я...

— Конечно, трудно,— вздохнул Махмуд.— И все же от истины не уйти, лучше признать ее...

— Какую истину?!

— Старики вас воспитали. Но вы мало похожи на них. Родом вы из другого места...

— Из Джондора?

— По-моему, да. Не только я, весь кишлак говорит об этом.

— Кишлак... Все гораздо сложнее. Быть может, не так уж важно, где человек родился. Важнее — кто и как его воспитал... Вот такая истина, Махмуд-ака...

Машина подъехала к аэропорту.

Карим и Махмуд-ака попрощались.

Когда Карим уже прошел за турникеты, до него донесся чей-то голос из толпы провожающих:

— Хиром!

Карим резко обернулся.

Но, оказалось, звали другого парня. Невольно прищурившись к нему, Карим подумал, что тот здорово похож на Мурадовых.

Когда самолет взлетел, Карим откинулся на спинку кресла и полузакрыв глаза. Перед его взором уже в который раз предстал берег далекой Ладоги. Он знал, что где-то в каком-то океане плавает новое судно с названием «Узбекистан». Но тот затонувший пароход уже никогда не поплывет по волнам Ладоги...

Так где же на самом деле Хиром Мурадов?! И кто он? И есть ли на свете люди, которые в точности знают о нем?

ВОЛШЕБНИК

Время было позднее, но не спалось. Сидя за столом, он читал книгу. Неожиданно зазвонил телефон.

— Слушаю вас.

— Простите, с кем я говорю?

— Со мною, судя по всему.

— Пожалуйста, без шуток. Мне надо узнать, куда я попала...

— А куда вы звоните?

— В больницу.

— К сожалению, вы ошиблись, это гостиница.

— Извините...

Он опустил трубку и вновь принялся за чтение. Но вскоре снова раздался звонок.

— Алло, больница?!

— Нет. Это опять я...

— Ах, снова я вас побеспокоила. Никак не могу дозвониться.

— Бывает. А что случилось?

— Мама почувствовала себя плохо...

— Может, лучше вызвать скорую?

— Понимаете... Мой дядя — врач. И как раз дежурит сегодня. Надо же, всегда правильно попадала, а сегодня как назло...

— Ничего. Попробуйте еще.

Он повесил трубку и снова взялся за книгу, впрочем, то и дело поглядывая на телефон. Звонок не заставил себя ждать.

— Больница?

— Увы! Вам опять не повезло.

— Что же делать! Представляю, как я вам надоела.

— Не беспокойтесь по этому поводу. Как самочувствие вашей мамы?

— Неважное...

— Ну, не отчаивайтесь. Попробуйте еще. А я... Все равно не спится.

— Спасибо.

— Я вполне серьезно. Не смущайтесь. Но к вам одна просьба. Когда придет врач и вы успокоитесь, позвоните мне.

— Зачем?

— Теперь я не смогу уснуть, буду думать, как там у вас...

— Но ведь вы совсем нас не знаете!

— Это не имеет значения...

— Какой вы странный... Чего-чего, а больны́х на свете хватает. И если вы будете обо всех думать и не спать, то уж не знаю... А как мне вас спросить?

— Можете звать меня Мехмон-ака* или товарищ Мехмон, как вам удобнее.

— Хорошо.

Он снова взялся за книгу. Следующий звонок раздался через час.

— Простите, это вы, Мехмон-ака?

— Я.

— Не уснули еще?

— Нет.

— Вот... на этот раз я звоню именно вам... Приезжал дядя, а с ним еще один врач. Сделали укол. Мама, бедняжка, сразу почувствовала себя легче. Сейчас спит...

— Очень хорошо... Рад и за вашу маму, и за вас...

— Знаете, хоть вы и просили, но я не стала бы беспокоить вас снова в столь поздний час. Но мне так захотелось поблагодарить вас...

— За что же?

— Видите ли, иногда мне кажется, что большинство людей думают прежде всего о собственном благополучии. Короче, когда я звонила в больницу, то по ошибке столкнулась по телефону еще с двумя людьми. Один грубо выругал меня, а второй стал назначать свидание. Вы совсем не похожи на них. Знаете, чем? Своим равнодушием к судьбе другого... Сказать по правде, я мало встречала таких, как вы...

— Спасибо за добрые слова. А что касается равнодушных людей, то они вовсе не редкость. Уверяю вас.

* Мехмон (узб.) — гость, также мужское имя.

— Может быть, вы и правы. Только я их редко встречала. И еще...

— Алло? Почему вы замолчали?

— Честно говоря, мне просто захотелось немного поговорить с вами...

— О чем?

— Даже не знаю, как вам об этом сказать... Можно спросить вас об одной вещи?

— Пожалуйста...

— Откуда вы приехали?

— Из Ташкента.

— В командировку?

— Угадали.

— Наверное, у вас много работы?

— Хватает. Порой так разволнуешься, что ночью не заснуть.

— И что же в таких случаях делаете, товарищ Мехмон?

— Читаю...

— А что?

— Сейчас, к примеру, Айни...

— Садриддина Айни?

— Именно.

— Мы его в школе проходили, и мне он тогда казался скучным...

— Значит, надо перечитать заново. Вообще-то, читать серьезные книги — дело не простое. Но зато они обогащают жизнь человека, помогают порой разобраться в том, что происходит вокруг... К сожалению, некоторым и Достоевский кажется скучным. Вы меня, конечно, извините, это не в ваш огород камешек, а так, к слову...

— Вы правы, читаю я мало. Времени нет. Работаю на комбинате. А тут еще мама часто хворает, так что

и домашняя работа на мне. В школе-то я читала. Но сейчас...

— И все-таки я вам советую перечитать Айни. Это же наша история.

— А вы интересуетесь историей?

— Не только... Знаете, я вот о чем подумал: я-то не сплю, ладно, мне не привыкать, ну, а вы-то сами почему не спите? Разве вам с утра не на работу?

— Мне тоже не привыкать... Когда-то жизнь казалась беззаботной и радостной. Но постепенно пришлось столкнуться с разными трудностями, невзгодами...

— Кстати, вы, кажется, хотели мне что-то сказать?

— Я не забыла... А вы не будете стыдить меня?

— С чего это вдруг? И вообще, вы производите на меня хорошее впечатление.

— Но вы ведь совсем меня не знаете!

— Я просто сужу по вашему тону, по голосу.

— По голосу? На этот раз вы сказали неправду. Голос у меня не очень-то приятный. Даже грубый. Я это прекрасно знаю.

— Во-первых, ваш голос мне вовсе не кажется грубым. Может, чуточку резковатый, но, на мой взгляд, это верный признак прямоты души...

— Интересно. Может, у вас сложилось определенное мнение и о моей внешности?

— Если в общих чертах... Вы — симпатичная, выскокая...

— Вот и ошиблись. Роста я среднего, нос — курносый. А еще я очень смуглая...

— Мне кажется, вы попросту скромничаете. При этом, красота человека далеко не определяется внешностью. Есть еще и душа, и добрые дела, которые могут украсить человека.

— Значит, вы не считаете меня дурнушкой?

— Во все нет. Алло... алло! Почему вы молчите?

— Простите... В зеркало смотрюсь...
— Да вы никак плачете?!
— Нет-нет, вам это просто послышалось...
— Что же вам рассказало зеркало?
— Не знаю... Может, вы и правы. Чуть-чуть.
— Мне кажется, мы несколько отвлеклись. Вы ведь хотели мне что-то рассказать?

— Да. Может, это и лишнее, но все же расскажу. Когда-то мне нравился один парень. Десять лет вместе проучились. Отношения между нами были хорошие. С другими мальчиками или девочками и он, и я порой ссорились. Но между нами с самого детства ни разу не пробегала черная кошка. В десятом классе мы поехали на хлопок. Условия в тот год были особенно тяжелые. В колхозе нас встретили кое-как, поселили всех в большом, сколоченном из досок бараке: по одну сторону на длинных нарах спали девочки, по другую — мальчики. И вот однажды с раннего утра зарядил холодный осенний дождь. Часам к одиннадцати он прекратился, а после обеда председатель колхоза попросил нас выйти в поле. Повсюду грязь и слякоть, мы в нерешительности столпились у входа... И тут я, не знаю откуда взялась смелость, подошла к председателю. «Раис-ата, как же можно сейчас собирать хлопок?!» «Земля еще не просохла, знаю, но все равно соберете хоть немножко, будем сушить», — ответил председатель. «Земля не просохла?! Да там глины по колено, — продолжала я. — Ладно. Если нужно, мы соберем... Но о другом хочу спросить».

«Спрашивай, доченька, пожалуйста!» — кивнул председатель. «Ваш колхоз богатый?» «Колхоз наш богатый, миллионер!» — с гордостью воскликнул председатель. «К вам, наверное, каждый год приезжают помощники?» «Каждый год. Спасибо вам!» «Тогда скажите, разве нельзя создать нормальные условия для помош-

ников?! Сами стали бы спать в таком бараке?! Ни окон, ни дверей, сырость...» Председатель стал багровым, затем побледнел и глухо произнес: «Верно говоришь, доченька. Наша вина! Постараемся кое-что исправить». До сих пор не пойму, как это я решилась говорить так резко со старшим... Все ребята меня поддерживали. Только Субхан — парень, который мне нравился... он был у нас бригадиром, каждый вечер ходил в правление, постоянно встречался с председателем... Так вот Субхан подошел ко мне и грубо крикнул: «Чего со старшими споришь? Твое дело — хлопок собирать, понятно?!» От неожиданности я растерялась: да Субхан ли это? По-моему, и другим стало не по себе... А вечером Субхан, как ни в чем ни бывало, подошел ко мне. На миг мелькнула мысль — может, хочет извиниться? А он... «Чего ты из себя строишь? Подумаешь, красавица: в зеркало посмотри! Уж по такой сохнуть не буду»... До того дня я и не догадывалась, что человек, которому доверяешь, может причинить тебе такую боль. Что-то оборвалось внутри... Прежде я никогда не задумывалась о своей внешности. А тут сама себя стесняться стала... С того дня я будто тяжкий камень носила на сердце. А вот поговорила с вами и, кажется, полегчало немного.

— Знаете, в своей жизни вы еще не раз можете столкнуться с несправедливостью, даже подлостью. От этого, к сожалению, никто не застрахован. Однако решите дать совет: негодую по конкретному поводу, никогда не следует отворачиваться от жизни, от людей...

— Спасибо, я поняла. Извините... Отдыхайте... Еще только один вопрос... Вы долго пробудете в нашем городе?

— Нет. Послезавтра уезжаю.

— Можно мне позвонить вам завтра вечером?

— Конечно.

— Спасибо. Спокойной ночи...

* * *

На следующий день он вернулся в гостиницу поздно — в двенадцатом часу ночи. Выпил стакан минеральной воды и устало опустился в кресло. Вспомнился ночной разговор. Он подумал, что девушка, вероятно, уже звонила, если вообще звонила, и больше не позвонит. Жаль... Отдохнув немного, он поднялся и подошел к окну.

Телефон зазвонил так же неожиданно, как и вчера.

— Алло! Мехмон-ака?

— Я...

— Здравствуйте...

— Здравствуйте.

— Я звонила несколько раз, но никто не снимал трубку.

— И неудивительно, я только что вернулся. Задержался немного в городе... Как ваша мама?

— Спасибо, хорошо... Вы не рассердитесь, если я спрошу вас...

— О чем?

— Что вас задержало?

— Работа...

— Ой, вы, наверное, устали, а я опять не даю отдыхать...

— Нет, вы мне нисколько не мешаете.

— Тогда нельзя ли узнать, что у вас за работа такая?

— Встречаюсь с разными людьми, беседую с ними...

— Как интересно! Но с какой целью?

— Хм! Трудный вопрос! Что же ответить... Чем старше становишься, тем сильнее тянет к людям. Особенно если знаешь, что хоть чем-то можешь кому-то помочь...

— Никогда бы не подумала, что на свете есть подоб-

ная работа! А знаете, я сегодня целый день вас вспоминала. И мне представилось, что вы — ну, словно волшебник...

— Волшебник?

— Нет-нет, не смейтесь. Когда у мамы раньше случались приступы, она неделями не вставала с постели. А на этот раз иначе. Я вечером пришла с работы, а мама на кухне вовсю хлопочет. Да и я сама... Подружки даже удивились, спрашивают, что это с тобой стряслось, ты сегодня какая-то не такая... Меня Зухра зовут... Алло! Почему вы молчите? Может, вы не расслышали, я вам свое имя назвала.

— Расслышал, Зухра...

— Мне тоже хотелось бы узнать, как действительно зовут вас.

— Я думаю, сейчас это не имеет никакого значения. Для вас я просто некий человек. Мехмон.

— Ну, не хотите, так не называйте. А у профессии вашей тоже нет названия?

— Отчего же? Пишу для газет и журналов разные истории — и подлинные, и выдуманные. Раньше все больше выдумывал. А теперь стараюсь побольше писать о том, что происходит на самом деле... Одним словом, журналист...

— Может, вы и книги пишете?

— Пишу.

— Стало быть, вы — писатель... Ой, я сердцем чуяла, что вы — не такой как все. Но даже думать об этом боялась. Иначе ни за что не решилась бы позвонить. Первый раз в жизни разговариваю с живым писателем... Надо же... Писатели... это такие люди!..

— Обыкновенные люди, смею вас уверить. И среди них всякие встречаются...

— Не знаю. Вам виднее. Но я всегда считала писателя идеальной личностью.

— Возможно, есть и такие люди, но что касается меня лично, то я самый обыкновенный человек, уверяю вас, и недостатков у меня хватает.

— Но теперь-то вы должны сказать, как вас зовут. Я найду ваши книги и прочитаю...

— Если мои книги чего-то стоят, вы их и так прочитаете когда-нибудь. А если нет, так и читать не надо...

— Конечно, я могла бы легко узнать ваше имя. Достаточно позвонить в справочную гостиницы... Но мне почему-то кажется, что это было бы нечестно с моей стороны.

— Спасибо...

— И все-таки мне хочется хоть разок взглянуть, какой вы... В отличие от вас, я не могу представить человека по голосу, по разговору. Вы уезжаете завтра?

— Утром.

— А завтра как раз суббота.

— Ну и что?

— Знаете, у меня была сестра, Фатима. Она умерла еще в детстве. Потом умер папа. Мы с мамой остались вдвоем. А тут еще грубость Субхана... Человек порой так нуждается в добром слове, в умном собеседнике... Теперь, когда я узнала, кто вы, тысячу раз прошу прощения за то, что отняла у вас столько времени.

— Вам не за что извиняться. Вчера я почувствовал, что вас что-то гложет, что вам нелегко. Но потом подумал: ведь у вас еще вся жизнь впереди и вы обязательно найдете свое счастье.

— Правда? Но если выйдет по-вашему, мне нужно обязательно известить вас об этом.

— Вовсе не обязательно. Ведь если бы я ждал от вас вестей, то могло бы показаться, что я попросту успокаиваю вас. А я твердо верю, что вы будете счастливы.

— Знаете, я буду вспоминать вас всегда: и в радости, и в горе. Я вас никогда не забуду, Мехмон-ака!..

* * *

На следующее утро произошло вот что.

Когда он вышел из гостиницы, то увидел смуглую симпатичную девушку с чуть вздернутым носиком и лучистыми глазами, что прогуливалась по аллее. Стоило кому-нибудь появиться в дверях гостиницы, как она бросала в ту сторону пристальный, и в то же время смущенный взгляд. С таким же выражением девушка взглянула и на него, но, видимо, и на этот раз подумав, что это не может быть Он, тут же отвела взгляд.

Он улыбнулся, сел в поджидавшую его машину и поехал в аэропорт.

КАРИМА

Давно это было...

В актовом зале нашего института — танцевальный вечер.

Ярко, воздушно, широко вальсируют пары — кто как умеет. Танцуют, в основном, старшекурсники, а мы, вечерашние абитуриенты, робко жмемся у стенок.

Я уже давно украдкой наблюдаю за девушкой у колонны. Лицо у нее совсем детское. Во все глаза — и мне кажется — удивленно, разглядывает она скользяще-летящую круговерть. Ни на ком не останавливая взгляда, она восторженно, с упоением внимает картине в целом. Но вот ее взгляд слегка туманится: наверняка она мысленно видит и себя на высоких каблуках, с раздутым музыкой бело-воздушным подолом.

В конце концов я решил подойти и пригласить ее на танец.

Танго...

А может, и не танго. Я не слышал музыки. Я судорожно подбираю слова;

— Как вас зовут?

— Карима.

Мы встретились взглядами, и я первым ожегся — точно помню, что первым.

Ответила она точно так же, как согласилась танцевать — ровно, без показной гордости, нарочитого безразличия или радостной улыбки. Наша беседа продолжалась, и с каждой фразой я чувствовал, как улетучивается моя застенчивость.

— Вы студентка?

— Да.

— Ташкентская?

— Нет, я из Маргелана.

— А меня зовут Сабир.

— Очень приятно.

Тут танец закончился, а с ним и вечер, все потянулись к выходу. И как-то так случилось, что Кариму я потерял в вестибюле прежде, чем успел попрощаться.

Каково же было мое удивление, когда, выбравшись у общежития из переполненного автобуса, я увидел свою новую знакомую, которая выходила с передней площадки.

У меня вырвалось:

— Карима!

И опять мной овладела робость, почти страх, тем более, что ее реакция была убийственно-невозмутимой:

— Куда же вы, Сабир, пропали?

Ее окружали подруги, которые, не обращая на меня внимания, продолжали бойко, назойливо щебетать. Наконец они заметили наше движение навстречу друг другу — и враз смолкли, разглядывая меня. Удовлетворив любопытство, они отошли в сторонку с деланной скром-

ностью и подобающим приличием. Отошли, впрочем, недалеко. И вновь мною овладело невероятное смущение.

Карима сказала:

— Заходите как-нибудь в гости, Сабир. Я живу в одиннадцатой комнате. Мне пора, Сабир. До свидания.

— До свидания,— пробормотал я.— Спасибо. Я приду.

Она улыбнулась мне смущенно, чуть виновато: дескать, извините, я не могу остаться, мне действительно пора уходить...

В тоне, в улыбке было дружеское участие, будто мы давным-давно знакомы. Ее подкупающее спокойствие, совсем юное личико — собственно, один ее вид — действовали на меня завораживающе.

Уличный электрический свет растекался ровным розоватым туманом, и она уходила в него, окруженная подругами, которые нет-нет да оборачивались в мою сторону. Потом этот самый свет вдруг потек к подъезду — ей вдогонку — и я похолодел: мне показалось, она оборачивается. В тот же момент свет обрушился на меня вязкими лучами и высветил меня на всю широкую и многолюдную улицу, на весь город. Стыдясь своей скованности, но и стараясь выглядеть безразличным, я оглянулся. Люди — странные люди! — шли обычным своим ходом, и не было им никакого дела до одинокого парня у женского общежития. Столь явная толстокожесть удивила меня, но и успокоила. Энергично крутнувшись, я побежал, подпрыгнул и снова побежал. Впрочем, разве сейчас вспомнишь, как именно было.

Следующим вечером я сидел в своей комнате и пытался читать детектив. Однако чтение не только не отвлекало меня от соблазна навестить Кариму, но, напротив, усиливало пытку ожидания. Было на редкость тихо. Время от времени от шелестящего в переулке автомобильного гула ровная освещенность комнаты как

бы подрагивала. И хотя я по-прежнему глаз не отрывал от книжки, но смысла прочитанного не понимал.

Шаги в коридоре. Громко хлопнула соседняя дверь... И — девичий смех, рокот мужского голоса...

Я выбежал на улицу...

Окна женского общежития уже кое-где светились. Дежурный записал по студенческому билету мою фамилию в толстый журнал и кивнул равнодушно на коридор.

На стук дверь открыла угловатая девица с жилистой шеей.

Я вежливо поздоровался и спросил:

— Простите, можно видеть Кариму?

Девушка сонно кивнула на мое приветствие, посмотрела на мои ботинки, будто прикидывая, достаточно ли они чисты, чтобы входить в них в женскую обитель. Затем повернулась в комнату:

— Карима, это к тебе.

Я, конечно же, основательно пошаркал подошвами. Тем временем девушка распахнула дверь шире, и я увидел Кариму. Она сидела у окна на стуле — как мне показалось — печальная. Впрочем, взгляд ее тут же оживился, она легко улыбнулась, легко поднялась навстречу.

— А, это вы? Проходите...

Движения ее были грациозны: сделав два-три шага, она сначала одной рукой, затем и второй подбила прическу.

Долговязая соседка в тапочках без задников протиснулась меж нами, взяла со стола пузатый чайник и вышла из комнаты. Едва я присел на предложенный мне стул и поднял глаза, намереваясь сказать что-нибудь «умное», как встретился с пристальным взглядом Каримы. Ее откровенное любопытство обескуражило.

Тем временем вернулась вторая девушка.

— Давайте пить чай,— предложила Карима и тут же воскликнула:

— Ой! Я вас даже не познакомила! Это — Мунаввар, моя подруга, а это — Сабир...

Мы присели к столу.

— Почему вы сегодня такой грустный?— спросила Карима, подавая мне пиалу.

Я ответил, что вовсе не грустный и что зашел, как обещал, пригласить их в кино.

— В кино мы не пойдём,— решительно возразила Мунаввар.— У нас еще дел много.

— А разве вы обещали?— удивилась Карима.— Я что-то не помню...

— Ну не хотите в кино, можно погулять...

Опять вмешалась Мунаввар:

— Поздно уже гулять. Нам рано вставать. У нас завтра плавание. В бассейне. Да еще в такую рань, подумать только!

Я сделал вид, что не понял намека, мы потолковали об институтских делах, причем, насколько помню, я постепенно разговорился. Мунаввар вставала, уходила, приходила, распорядилась чаепитием. Улучив момент, я поинтересовался у Каримы:

— Мунаввар вроде старшей сестры — командует...

— Командует?— удивилась Карима. — Разве она командует?

Позднее, когда я узнал, что Мунаввар из многодетной кишлачной семьи, где она привыкла исполнять функции старшей сестры, то понял, что ошибался в оценке ее характера. То, что я поначалу принял за непререкаемую повелительность и безапелляционность хозяйки, лидера, было на самом деле проявлением своеобразных качеств домоправительницы и прислуги в одном лице. Ей был в тягость безалаберный общежитский быт, а исполнение студенческого долга мучительно

неинтересно, но, как человек терпеливый, обязательный и трудолюбивый, она, насколько я знаю, успешно закончила институт. В быту же она была и повелительницей (командовала!), и исполнительницей на побегушках у подруг, для чего тем требовалось лишь попросить ее, как просят младшие старшего, эдак, с намеком на собственную беспомощность.

Кариме же, которая задолго мечтательно готовилась к столичной — поначалу студенческой, затем уж какую судьба пошлет, но столичной — жизни, первые месяцы учебы принесли разочарование. Как всякая мечтательная и — сейчас смею сказать — неодаренная натура, Карима ожидала некоего бесконечного праздника, а столкнулась с реальной будничной жизнью. Будучи прелестным ленивым созданием, она рассудочно нашла выход, позволив влюбиться в себя.

Это я сейчас дерзок в суждениях, быть может, ошибочных и, наверняка, самооправдательных. Тогда же — любил...

Я любил!

Я долго тогда ощущал и с трепетом переживал эту ее потаенную печаль с поволокой во взгляде, искрящемся поверхностным светом любопытства. Ликуя, но сдерживаясь, мужественно сдерживаясь, я предавался ее искренней беззаботности, когда мы целовались.

Целовалась она всегда весело, без наигранной истомы. Я был горд, бесконечно умен и отважен после того, как мы выбирались из укромного уголка на людное место. Я ловил ее восхищенные взгляды, чувствовал через тепло сцепленных ладоней ее доверчивость, и мы ходили и бегали по паркам и скверам, отсиживались, согреваясь кофе, за столиком у заиндевелого окна — зима в тот год выдалась снежная и пышная, потом я выклянчивал у старшего брата деньги, чтобы угостить Кариму каким-нибудь лакомством... Мы встре-

чались по десять раз на неделю, вели серьезные разговоры, беспричинно хохотали и... И, наконец, поостыли... Слово, может быть, неуместное... Короче, однажды мы, не ссорясь, поссорились.

После просмотра фильма «Овод» она сказала, что фильм старый, не в смысле, что снят давно, а потому, что сейчас такой любви не бывает, да и таких людей тоже. Меня это задело за живое, ибо «про любовь и про таких людей» я принял на свой счет. Но, помню, что неожиданно для самого себя я сказал, что мой дядя прошел две войны и, как он утверждает, вернулся живым только благодаря его жене (моей тете), которая ждала и любила, и сейчас у них, между прочим, семеро взрослых детей. Карима ответила, что я говорю банальности, тогда была война и вообще другие нравы. Я не на шутку рассердился — теперь уже за дядю.

Размолвку она, впрочем, легко сгладила. Мы не поссорились.

Но на следующий день я столкнулся с Каримой в институте, в коридорном таком аппендиксе. Ее держал за руку наш преподаватель; вроде бы здоровался, но второй-то рукой он поглаживал ее ладонь. Кроме них в коридоре никого не было. Она ему улыбалась, рукой плавненько поправляла свою прическу. Заметив меня (заметила наверняка!), она приняла независимый вид и даже отвернулась, как бы загораживая от меня собеседника. А я все стоял и смотрел, и тот тоже меня увидел, и тогда они расцепили руки (так и хочется написать — объятья).

Я долго крепился, избегая встреч с Каримой. Я, конечно, ждал объяснений. Когда же мне пришлось сдавать зачет по лабораторной работе именно этому преподавателю, я глаз не поднимал, боясь надерзить. Он же меня погонял, погонял, как всех, и поставил зачет. Тогда я рискнул — встретился с ним взглядом.

Он мне что-то сказал, как всем, сделав вид, что не помнит той сценки в коридоре. Впрочем, он вполне мог и не узнать меня. Выяснилось все так. Как-то меня разыскала Мунаввар и выговорила: дескать, не принято, чтобы девушка бегала за парнем, и так далее. Потом спросила — мол, только для нее, — что же все-таки произошло? Я помялся и не с первой попытки поведал ей свое горе. Она принялась утешать, когда это было, с кем Карима стояла, — затем несильно хлопнула меня по лбу. Оказалось, Карима попросту отпрашивалась с занятий, необходимо было съездить домой.

Мы, собственно, и не мирились. Мы встретились — оба виноватые, пристыженные... Не мирились, потому что по совместному, не оговоренному соглашению, поняли: мы не ссорились. Так — недоразумение.

Новое открытие — новая радость: оказывается, мириться не ссорясь, необыкновенно сладостно. Мы бродили в обнимку дождливым мартом, цветущим апрелем, ездили в горы на шашлыки...

Потом неожиданно задождило, похолодало. Именно в эти дни Карима познакомила меня со своей тетей Халимой-апа. Той было лет под сорок, а может, и тридцать... Разве в тогдашние мои восемнадцать я мог определить? Как и племянница, она была безмятежно весела, точнее сказать, учтиво общительна, улыбочива и тоже, как племянница, с затаенным печально-искривленным взором. Она все расспрашивала о нашем студенческом житье-бытье, сказала про «чертовский холод» и пригласила к себе в гости — «нечего шляться по улицам». Разговор же наш состоялся у подъезда учреждения, в котором работала Халима-апа. Мы уже прощались, когда на крыльцо вышел дородный представительный дядечка в пальто с меховым воротником, накинутым на плечи.

Оглядевшись, он подошел к нам.

— Кудрат Фазылович,— представила его Халима-апа, при этом от нас не укрылась некоторая неловкость в ее голосе.

Он поздоровался, похлопал Кариму по плечу.

— Ну ладно, идите,— поспешно встала Халима-апа,— а то превратитесь в сосульки.

Прощавшись, мы ушли.

— Тетя у меня золотой человек... Только несчастная,— сказала Карима.— Личная жизнь у нее не сложилась. Муж очень болен. Уже несколько лет не встает. Врачи говорят, болезнь неизлечима... Можешь представить, что у нее за жизнь. Тетя так намучилась с ним. Хочет положить его в больницу, а он, представляешь, из-за своего упрямства всячески противится, а ведь всякое бывает — вдруг вылечат?

— По-вашему, это упрямство?— спросил я.— Кому охота помирать в больнице...

— Много вы понимаете!..

Я пожал плечами. У витрины Карима вдруг надолго остановилась, хотя ничего интересного за стеклом не было.

— Что с вами?

— Так. Ничего.

— Простите, тетю, конечно, тоже жалко, но...

— Оставьте,— сказала Карима и, не глядя и не зовя меня, пошла так же неожиданно прочь, как и остановилась.

Все же я догнал ее неспешным, но широким шагом. Проводил молча. Молча же расстались.

Это была наша предпоследняя встреча.

Дней через пять Карима сказала, что тетюшка приглашает нас в гости.

В просторной комнате — длинный, богато и аппетитно сервированный стол. Нас ласково приветствовали, усадили. Гостей, включая нас, было шестеро. Мо-

жет, оттого стол казался таким длинным? — Во главе его — Кудрат Фазылович. Я это, конечно, сразу заметил, как и то, что чувствовал он себя по-хозяйски непринужденно. Но вот в комнату вплыла Халима-апа, обнося гостей горячим блюдом. Карима, оживленно кокетничая, переговаривалась с этим самым Кудратом Фазыловичем. Улучив момент, я спросил шепотом у Каримы, а где, дескать, муж Халимы-апа? Она в ответ наступила мне на ногу, улыбнулась кому-то, кому-то что-то сказала, затем с наигранной псевдосветской мимикой объяснила мне также шепотом, что мужа с помощью хороших друзей (будто друзья могут быть плохими?) удалось пристроить в преотличнейшую клинику.

Помню, я пожал плечами... Я, действительно, тогда не осуждал ни тетю, ни ее ухажера... В тот момент мне не было до них никакого дела, но больно задело оживленное участие Каримы в этом.

Когда мы вскоре прощались, Карима, заметившая мое состояние и по-своему его истолковавшая, спросила:

— А какое вам, собственно, дело до чужих отношений?

— Никакого, собственно,— ответил я, делая ударение на последнем слове.

Тогда она добавила:

— Вам, конечно, легко судить да рядить, а случись такое с вами...

Я прервал ее:

— Никого я не сужу!

* * *

Я чувствовал, как смотрела она мне вслед, замерев у освещенного подъезда женского общежития. Хорошо помню границу света и тени — тени каштановой аллеи,

Вот тень сгущается, сгущается и, наконец, смыкается за моей спиной, и Карима это видит...

Еще целых полгода мы маялись, избегая друг друга. Да так и не встретились тогда...

БУСЫ

Створки ворот приотворились с тяжелым скрипом. Показалась одетая в черное старушка, которая вела за руку пятилетнюю девочку в выцветшем атласном платьице. Обе напрямик направились в глубь двора.

— Малохат, тетушка пришла! Надо же, не поленилась!

Бахри (сестра Малохат) и ее муж Аваз одновременно повернулись к окну. Они приехали к отцу погостить. Малохат же, вышедшая недавно замуж и живущая в доме мужа, пришла сюда помочь по хозяйству, так как отец давно уже вдовствовал.

Лицо приближающейся старушки было испещрено глубокими морщинами, ступала она, по причине подслеповатости, осторожно. Взлохмаченная девочка, словно поводырь, также медлила и смотрела себе под ноги, хотя по всему было видно, что она едва сдерживает прыть — трехкилометровое пешее путешествие из соседнего кишлака завершилось. Вот они и в гостях!

— Заходите, тетя, заходите! Как мы рады...

— Ассалом алейкум...

Приветствуя, тетушка священнодействовала. Степенность ее движений завораживала, голос звучал неподдельно трепетно. Она легко уселась на курпачу. Девочка присела рядом. Дождавшись, пока та уgomонится, старушка начала расспросы:

— Бахрихон, как поживаешь? А вы, зять? Как твое самочувствие, Малохат? Здоровы ли дети? Что дома у вас, зять? Как родители?..

Казалось, вопросам не будет конца.

— Яхши, рахмат, хорошо, спасибо, слава богу, спасибо...

Наконец, ритуал завершен.

Малохат, укутав тесто, принялась накрывать дастархан. Молча попили чаю. Разговор не клеился. Бахри нет-нет да стреляла холодом из-под бровей. Тетушка, однако, хранила достоинство. Бахри проговорила не без подвоха:

— Кушайте, тетушка, вы небось проголодались. Надо же, так утрудили себя, в такую даль отправились...

Опять долгое молчание. Кое-как собравшиеся подавили в себе неловкость, вызванную недоброй иронией Бахри. После паузы старушка произнесла, как бы отыскав нужный ответ:

— Хотела тебя увидеть, дитя. А что машин не было — так ты права.

Малохат вышла. Все видели, что она принялась растапливать тандыр. Тетушка обратилась к девочке:

— Ты посиди пока, отдохни немного.— А сама, опершись о пол, встала и, попросив у Бахри кувшин, вышла.

Бахри тотчас последовала за ней.

Девочка исподлобья, но весело несколько раз глянула на Аваза.

— Как тебя зовут?— спросил он.

— Шахло.

— Шахло, говоришь... Молодец, Шахло! А ты знаешь...

В дверях шумно появилась Бахри.

— Посмотрите, что я нашла возле колодца!..

Наклонившись с врожденной грациозностью, она протянула мужу бусы.

— Наверняка мамины,— сказала она и, понизив

голос, затараторила:— Знаете, у мамы была уйма всяких украшений. После ее смерти, царство ей небесное — мы тогда еще крохотными были, а отец наш, сами знаете, какой,— эта тетка все-все к рукам прибрала, я ее терпеть иногда не могу, но приходится, родственница как-никак...

Аваз хотел было (он с одного взгляда оценил безделицу) сказать жене, чтобы не приставала с пустяками, но решил промолчать; он понял теперь, с некоторым облегчением даже, причину неприязни жены к родной тетке. Однако, будучи человеком широкой души, внутренне он не одобрял поведение жены, тем более, что капризы старых людей, к тому же родных, следует, по его мнению, прощать. Тут он заметил, что к ним внимательно и серьезно прислушивается Шахло, и подумал, что нечестно, да и неразумно, посвящать детей в семейные дразги, тем самым настраивая их против того или иного родственника.

— Ладно,— сказала Бахри, видя, что ответа от мужа ей, похоже, не добиться,— пойду помогу Малохат.

Вскоре она опять влетела, взволнованная еще заметнее.

— Ну что у меня за память такая!— воскликнула она, бережно опустив на дастархан пышущие жаром лепешки.— Ума не приложу, куда подевались бусы?..— Присела и, разламывая лепешку, принялась вспоминать.— Тетя сидела на кухне... Малохат вынула из гандыра лепешки, и мы понесли их на кухню... Да ну их, бусы эти! А знаете, тетушка, между прочим, себе сразу же четыре лепешки завернула. Да вы не смотрите на меня, что мне, жалко? Но эта привычка таскать вещи! Понимаю, это болезнь такая, и все же... Ну ладно, вы тут отдохните, а вечером пойдем к Малохат, а то обидится, неудобно, надо пойти...

Проснулся Аваз от криков.

— Воровка! Воровкой была, воровкой и останешься!

— Я подумала, они никому не нужны... Ладно, дитя мое, возьми эти бусы, возьми...

Аваз выбежал. На айване стояла испуганная Шахло. Аваз как бы ненароком загородил девочку. Возможно, так вышло случайно, ибо проход был узкий.

Завидя его, женщины смолкли.

Толстушка Малохат стояла у кухни, видимо, в той же позе, что и во время скандала, о чем говорило выражение ее лица — будто она прожила уже долгую жизнь и подобным сварам цену знает, и свое место в них — тоже.

Тонкие плечи Бахри дрожали, она стояла во весь рост на супе..

Тетушка же, сидя с краю, отрешенно раскачивалась.

— Я подумала,— повторяла она,— что они никому не нужны. Кому они нужны в этом доме?.. В этом доме они никому не нужны... Я так подумала и взяла... Я их тебе, дитя мое...

Сбиваясь, временами переходя на визг, Бахри сказала мужу, как она нашла в теткинском узле с лепешками бусы, завязанные в уголке.

А тетушка все продолжала раскачиваться и повторять на разные лады одно и то же.

— Хватит! Прекратите!— взорвался Аваз и добавил уже тише:— Стыдно...

Ему хотелось утихомирить разбушевавшихся женщин, но нужных слов не нашлось. Он хорошо понимал, что для Бахри бусы — не украшение, для тетки — не имущество... Конечно, это память о матери... Но и старуху надо понять: валяются бусы в доме ее родного брата, почему бы не взять?.

Видя нерешительность мужа, Бахри опять настроилась на скандал, но в это время пришел отец.

Каюм-ака был невероятно тощ — кожа да кости. Впалые глазницы отливали синевой, которую еще более оттеняли поля соломенной шляпы. Одет был в белые летние штаны и такой же пиджак.

Старушка тотчас поспешила к нему.

— Брат, послушайте, что они говорят!..

Вспыльчивый по натуре Каюм-ака был туговат на ухо. Аваз, зная характер тестя, выхватил бусы у Бахри и, опережая объяснения женщин, выдавил:

— Нестоящий разговор... Так, ненужный шум...

Каюм-ака посмотрел на Аваза, на бусы, гневно блеснул глазами, затем схватил вдруг бусы и зашвырнул их на крышу, при этом шляпа его упала. Бахри мгновенно подняла ее, но старик уж скрылся в маленькой комнате с отдельным входом.

Потом Бахри долго-долго стирала в корыте. Малохат возилась на кухне с ужином, а тетушка продолжала монотонно раскачиваться. Рядом с ней сидела Шахло, время от времени бросая украдкой взгляды на родственников. Именно то, что она сидела в той же позе, что и тетушка, больше всего раздражало Аваза, который беспрестанно ходил взад-вперед.

Вечером отец отказался идти в гости к дочери. Ему подали ужин в комнатку.

Малохат вздохнула:

— Хоть вы, сестра, пойдете... И вы, зять. Тетя, ну что вы сидите, качаетесь, пойдете... У нас посидите...

Вдруг появился Каюм-ака.

— Здесь накрывайте! — хмуро сказал он.

Сидели на супе, при свете неяркой лампочки, что висела на столбе рядом.

Тетушка и Шахло, наскоро перекусив, ушли спать в дом.

Тем временем поспел плов.

Каюм-ака ел, казалось, ни на кого не обращая внимания.

Бахри, пользуясь его глухотой, вновь завела старую пластинку:

— Кажется, не первый год уже... А все тащит, тащит... И ты, Малохат, хороша... Прямо, как отец наш...— и, помолчав, добавила: — Беспечна...

Аваз заметил:

— Есть пословица: кто старое помянет, тому глаз вон...

Но Бахри с прежним упрямством все подливала масло в огонь:

— Значит, по-вашему, можно весь дом обчистить? Так? Нет, вы уж, пожалуйста, ответьте...

— Хватит!— терпение Аваза лопнуло.

Все посмотрели на отца. Тот, откинувшись, дремал.

Аваз негодующим полушепотом продолжал:

— Дом принадлежит Каюму-ака, вы его дочери, но старушка-то его сестра... Что тут неясного? Все! Хватит!

— Значит, вора можно оправдать?.. По-вашему, выходит, что это я...

Аваз не стал слушать. Встав, он вышел за ворота, твердя: «Ну и дура, ну и дура». Затем ему вспомнилось лицо Шахло, ее растрепанные волосы, изучающий взгляд...

Выкурив подряд три сигареты, он почувствовал, что успокоился, и, успокоившись, подумал, что подтвердилась его давняя догадка: Каюм-ака только прикидывается глухим.

Аваз вернулся в дом.

Все уже улеглись, сонное дыхание жены было молочно-младенческим.

ЗАБЛУДИЛИСЬ

Каххар Шадиев, уроженец кишлака, уже много лет живущий в городе, получил телеграмму из родных мест, от своей тетки. В телеграмме сообщалось, что тетя очень больна и хотела бы с ним повидаться...

Шадиев тяжело опустился на диван, откинувшись полными плечами на мягкую спинку, и просидел так, не двигаясь, до ужина. Вдруг вспомнились детские годы, родители, после смерти которых вот эта самая тетка приняла на себя все заботы по его воспитанию.

Шадиев вел в городе жизнь сытую и спокойную. Он любил намекнуть при случае, что посвятил свою жизнь науке, претерпел многие лишения, хотя на самом деле написал одну-единственную брошюрку да несколько статей по истории. Но этого оказалось достаточно, чтобы получить ученую степень кандидата наук. Никто из ученых собратьев никогда не ссылался на его скромные труды, тем не менее Шадиев привык считать себя «аксакалом научного мира».

Воспоминания пробудили в его душе щемящие и в то же время приятные чувства. Как-никак, он, бывший босоногий кишлачный мальчишка, кое-чего добился в жизни. В тот же день Шадиев сообщил своей худенькой, маленькой, вечно озабоченной жене Хафизе, что завтра утром едет в кишлак — к тетке. Накануне он велел своему личному шоферу Надыру «быть готовым»...

Однако, проснувшись с первыми лучами солнца и вспомнив, что предстоит дальняя поездка, он почувствовал себя неудобно.

Среднего роста, располневший, с круглым лицом и вечно сонными глазами, Шадиев больше всего не любил забот. Все то, что вчера его растрогало, сегодня воспринималось, как тягостная необходимость.

Когда, позавтракав, он вышел во двор, уже никуда не хотелось ехать.

Стояла осень, но небо было безоблачным, прозрачным, солнце по-летнему дарило тепло. По кирпичным столбикам в углях супы непрерывными струйками сновали муравьи. Разглядывая насекомых, Шадиев думал: «Гляди-ка, и этим крошечным тварям нет в жизни покоя!»

На Шадиеве были хромовые сапоги и черный плащ из грубой ткани. Несмотря на ясную погоду, жена заставила его укутаться, сунула узелок с гостинцами для тети, да еще принялась советовать, словно ребенку — мол, смотрите, чтобы вас не продуло в дороге, и поешьте в пути, чтоб не проголодаться...

— Хорошо бы заодно навестить Мавлюду,— заглядывая в глаза, то ли попросила, то ли потребовала напоследок.

Мавлюда — их единственная дочь — работала учительницей в небольшом кишлаке неподалеку от города.

«Только этого не хватало! — подумал с раздражением Шадиев. — Ну, к старухе, понятно, съездить надо, а к дочери — какая нужда?!»

Он бы мог сказать это и жене, но ему не хотелось лишних разговоров, и он, по привычке кивнув, пробормотал:

— Ладно, пора трогаться... Там поглядим...

Перед воротами уже стоял старенький «Москвич» молочного цвета с помятым правым крылом. Невысокий кудрявый паренек в шерстяной рубашке, с закатанными до локтей рукавами, протирал лобовое стекло. Коренастой фигурой и курчавыми волосами он чем-то напоминал львенка.

— А ты не замерзнешь в дороге, сынок? — спросила его Хафиза,

— Что вы, я даже зимой не мерзну, хола! — хвастливо ответил Надыр.

Шадиев, зная словоохотливость своего шофера, поспешил попрощаться с женой:

— Дадно, передам от тебя привет старушке...

— Конечно, передайте! Если еще застанете в живых...— Хафиза вдруг осеклась, поняв, что сказала лишнее.— Когда вернетесь?

— Не знаю. Как получится... — неопределенно ответил Шадиев. Ему не понравилось, что жена будто накликала беду.

— Мавлюду все-таки навестите,— напомнила Хафиза.

Шадиев промолчал.

Затарахтел мотор — машина тронулась с места...

* * *

«Москвич» плавно катил по узкой асфальтовой дороге, что стрелой вылетала из города куда-то за горизонт. Здесь — за городом — природа была заметнее тронута желтоватым дыханием осени. Листья на деревьях, заросли камыша уже начали жухнуть. За окнами мелькали то скопления белых построек под железной кровлей, то старенькие глинобитные дома с плоскими крышами, на которых сушился кизяк. У приземистых ворот кишлачных дворов грелись на солнце собачонки, пускавшие след за машиной с сердитым тьяканьем. И снова — однообразная бескрайняя степь...

— Мы правильно едем?— спросил Надыр. Он работал шофером, как говорится, без году неделю и окрестных дорог толком не знал.

— Правильно,— буркнул Шадиев. Откровенно го-

воря, он не был уверен, что в точности помнит все повороты, но надеялся на лучшее.

— А к дочери вашей не заедем?

— Посмотрим по обстоятельствам,— неопределенно ответил Шадиев. Ему не хотелось делать немалый крюк. Да и виделись с дочерью совсем недавно — та приезжала в прошлом месяце.

— А супруга ваша не обидится?— не унимался Надыр.

— Обидится — не обидится, какая разница. Сейчас важнее повидать тетушку...

Они ехали уже довольно долго. Впереди показалось придорожное кафе — одноэтажное здание с узкой длинной верандой. Шадиев велел остановить машину:

— Давай-ка перекусим.

По высокой лестнице они поднялись на веранду. В нос ударил густой запах жареной рыбы.

— Так не люблю уезжать из города, но если приходится, больше всего в дороге мне нравятся такие остановки,— заметно оживившись, проговорил Шадиев, оглядывая полупустой зал. Потом кивнул Надыру:— Иди, займись рыбой, а я схожу за чаем...

Подкрепившись, они снова двинулись в путь.

Шадиев развалился на заднем сиденьи, отдуваясь после обильного угощения. Настроение заметно улучшилось, теперь он был не прочь поболтать:

— Конечно, можно заехать и к дочери. Знаешь, мне, как отцу... Но сейчас... Бедная тетя, как она там?! За поворотом показалась развилка.

— В какую сторону сворачивать, Каххар-ака?— повернулся Надыр.

— Ну-ка, останови на минутку,— пробурчал Шадиев, недовольный тем, что его перебили. — Дай-ка сообразить... — Помолчав с минуту, он нерешительно махнул рукой:— Поехали.

* * *

Еще утром из-за горизонта выползла небольшая одинокая туча. Она разрасталась и постепенно заволокла все небо. И вот будто сказочный див вырвался из клубящихся недр. Сильный ветер понесся по степи, с корнем вырывая и кружа сухую траву. Густая пыль застлала все вокруг.

Еще немного — и хлынул ливень. Быстро прибив пыль к земле, он прекратился, будто выполнив некую задачу. Но в тот же миг на ветровое стекло машины стали садиться снежинки, чем-то похожие на лепестки цветущего урюка...

* * *

Стало совсем темно. Да и дорога ухудшилась. Желтоватый свет фар выхватывал то кочки, побелевшие от снега, то глубокие рытвины. Внезапно Надыр понял, что уже давно едет по бездорожью.

— Ну, вот,— выдохнул он.— Я так и знал, что этим кончится.

Ответа не последовало. А тут еще «Москвич» забуксовал. Надыр нажал на газ, но машина, хоть и сотрясалась всем корпусом — вперед не двигалась.

— Вот вам и родной кишлак!— с издевкой произнес Надыр.

И снова не было ответа.

Надыр выключил мотор, уставившись на кружащиеся снежинки. Отчетливо слышалось завывание ветра... и еще какие-то странные звуки.

Надыр обернулся.

Его начальник, удобно устроившись на заднем сидении, спал как убитый.

Надыр с досадой потряс Шадиева за плечо. Наконец, тот поднял голову. Глаза его напоминали горящие угольки, посыпанные золой.

- Заблудились мы... Дороги нет!— сказал Надыр.
- Что?.. Чего нет?!— спросонья бормотал Шадиев.
- Дороги, говорю, нет...

Шадиев тупо уставился в окно, потом взглянул на Надыра.

— Гляди-ка, снег!..

Поняв, что помощи от Шадиева не дожидаться, Надыр открыл дверцу и с треском захлопнул ее за собой. Надо найти дорогу...

* * *

Надыра трясло от холода. Ветер сыпал снег в лицо, за ворот. Сощурившись, Надыр пытался разглядеть хоть что-нибудь в этой круговерти.

Наконец, неподалеку он различил какую-то черную тень и двинулся к ней, преодолевая сопротивление ветра.

Что это? Похоже на фигуру человека, стоящего на коленях посреди степи и молитвенно вскинувшего руки к небу. Надыр подошел ближе и... увидел высохшее дерево, с торчащими врозь ветвями...

Совершенно окоченев, а главное — потеряв надежду, он двинулся назад — к машине. И тут его обострившийся слух уловил еле слышный тарахтящий звук. Обойдя дерево кругом, Надыр увидел вдалеке две красноватые точки. Они быстро удалялись, и Надыра охватило отчаяние. Но тут он увидел поблизости другую — желтоватую точку, которая, казалось, приближается.

Забыв о холоде, он бросился ей наперерез.

— Э-ге-гей! — что было сил крикнул Надыр и только тут понял, что к нему приближается мотоцикл с зажженной фарой.

На мотоциклисте было теплое пальто, шапка. Надыр

увидел добрые с лукавинкой глаза и разом успокоился.

— Заблудились мы, брат...— заговорил сбивчиво.
— Где тут ближайший кишлак?

Мотоциклист улыбнулся:

— Держитесь за мной. Кишлак рядом...

* * *

Снег продолжал валить, но уже не так густо.

Вот показались деревья, затем глинобитный забор, еще дальше — кирпичное здание с большими окнами.

С трудом двигаясь по снегу, машина, наконец, въехала в кишлак. По обочине дороги осторожно, чтобы не поскользнуться, шла женщина. Надыр остановил машину.

— Салом! Куда это мы приехали, апа?— спросил, приоткрыв дверцу. И, видя удивление женщины, пояснил:

— Ехали в Кумтепе, да вот заблудились.

— Это Боггузар,— ответила женщина. Она шагнула было вперед, но снова остановилась и добавила:— Кумтепе далеко. Да и поздно уже. Вам нужно переночевать. Вон, в том доме, у нас гостиница,— женщина указала на кирпичное здание,— а сторожиха Рабия-биби спит внутри. Постучите — она впустит.

Шадиев, слышавший этот разговор, хитровато подмигнул Надыру:

— Нам не нужна гостиница. Езжай прямо..

Надыр нахмурился, подумав, что Шадиев, несмотря на поздний час, решил все же доехать до тетки. Но вскоре последовало указание остановиться возле небольшого дома, в окне которого горел свет.

— Зайдем-ка сюда, — загадочно произнес Шадиев. Они подошли к одностворчатой двери.

Шадиев постучал.

— Кто там?!— донесся из-за двери женский голос.

— Это я, доченька... Мы... — ответил Шадиев.

Зазвенела цепочка, дверь отворилась и в свете лампы, горевшей над дверью, появилась девушка в полосатом халате — такая же маленькая и худенькая, как и ее мать.

— Дада... Дададжан!— Мавлюда бросилась на шею отцу.

Через крохотную прихожую гости вошли в маленькую комнатку. У дальней стены стоял диван, сбоку от него — кровать, в углу — шкаф. Но все это замерзнувшие путники увидели потом. А сейчас их внимание приковала жарко натопленная чугунная печь.

— Вы же промерзли насквозь,— встревожилась Мавлюда. — Надо же! Так легко оделись в дорогу?!— Она быстро юркнула в прихожую, вернулась со старым халатом и протянула его Надыру:— Переоденьтесь. А я сейчас заварю чаю...

И к отцу:

— А я только на днях думала, вот бы папа приехал!

Она была так внимательна и предупредительна, так искренне радовалась приезду отца, что Шадиев на миг почувствовал угрызения совести. Но он быстро справился с наваждением и за весь вечер так и не сказал Мавлюде ни о тетке, ни о том, что они заблудились. Он держался так, словно специально приехал из города навестить дочь...

* * *

Наконец, устроились на ночлег.

Шадиев лег на кровати, Надыр — на диване, а Мавлюда ушла переночевать к соседке. Было очень тихо, только в печке потрескивали угольки.

— Нехорошо, конечно, получилось, что не попали к старушке... Но разве я виноват, что так вышло,— задумчиво заговорил Шадиев.— Эх! Хочешь, как лучше, а выходит...

Надыр молчал.

— Устал я, так устал, — продолжал Шадиев.— Бегаешь-бегаешь... А зачем? Что за жизнь?.. Вот если бы вернуть те годы, которые я провел в кишлаке... Бедная тетя...

Надыр не отвечал, сделав вид, что спит. Но про себя-то он твердо решил, что как только вернутся в город, он попросится на другую машину.

ДОЧЕРИ АХМАДА-АКА

Такое у нас случается нередко. Поэтому кто-то может сказать: слышал я уже про это. Но ведь кто-то, наверняка, услышит впервые...

Короче, был когда-то Ахмад-ака молодым. И, конечно, в ту пору его звали не Ахмадом-ака, а просто Ахмадом, вернее, Ахмадом-палваном.

Если кто-нибудь устраивал той,— гервым неизменно приглашали Ахмада-палвана. Ибо, к примеру, доставить тяжеленный чугунный казан, пусть даже из ближайшей чайханы, мог только сильный человек. Да разве дело в казане! Сами знаете, той — событие хлопотное. Даже в наше благополучное время встретишь немало таких, у кого нет сноровки дров наколоть. Опять же — кто выручит? Ахмад-палван! Притом, он никогда никому не отказывал и благодарностей за услуги не требовал. В его натуре простодушие уживалось со сметливостью. Однажды щупленький жених никак не мог снять с арбы свою толстуху-невесту. Поглядел-поглядел Ахмад-палван на его мучения, не

выдержал, подошел к арбе, поднял невесту, словно пушинку, и на вытянутых руках внес в дом под веселый смех гостей. Никто и не подумал обидеться...

Он никогда не прошел бы мимо булыжника, валяющегося на тропинке, или машины, завязшей в грязи; непременно уберет булыжник в сторону, чтобы не мешал людям, подтолкнет богатырским плечом машину и, пожалуйста, езжайте дальше.

Одним словом, Ахмад-палван был, что называется, славным малым.

Как и у всякого, было у Ахмада-палвана свое пристрастие: редко какое состязание по борьбе-кураш, устраиваемое по праздникам, проходило без его участия. Боролся он азартно, самозабвенно. И никому не удавалось положить его на лопатки. Держался победитель скромно, не бахвалился.

Только, ради бога, не поймите сказанное так, будто Ахмад-палван проводил все время на тоях и праздниках, как какой-нибудь бездельник. Ахмад-палван еще подростком пошел работать на хлопкоочистительный завод. Он и сейчас там трудится...

Однако мы несколько отвлеклись...

Итак, в один прекрасный день наш молодой друг обратил внимание, что мимо его дома дважды в день, утром и вечером, проходит смуглая стройная девушка. Стал он за ней посматривать тайком. Девушка нравилась ему все больше — скромная, застенчивая, никогда не остановится на улице, чтобы поболтать и посмеяться с подружкой. Через родственников Ахмад-палван узнал, что незнакомку зовут Зухрой и что она работает на ткацкой фабрике...

Как-то вечером он неожиданно появился у нее на пути и пробасил:

— Извините, я хотел бы сказать вам два слова. Если начать издалека, я давно вас заметил. А если,

как говорится, взять быка за рога, выходите за меня замуж...

— За в-вас...— густо покраснев, еле слышно прошептала Зухра. Затем, окончательно растерявшись, добавила:— Я ведь некрасивая...

— Раз вы мне приглянулись, стало быть красивой!— убежденно произнес Ахмад-палван. — И потом, мне скромность ваша нравится. И ума вам не занимать, я вижу... по вашим глазам вижу...— А глаза у Зухры были и впрямь особенные: огромные и ясные.

— Ну, что делать будем?— продолжал Ахмад-палван.

— Родители...— пролепетала одно лишь слово Зухра и бросилась бежать. На следующий день Ахмад-палван послал сватов. Получив согласие, он, не в пример некоторым, тут же сыграл свадьбу.

И зажили молодые счастливо. Жить бы им так всю жизнь, но...

Язык не поворачивается сказать, что в семье случилось «несчастье», однако, давайте обо всем по порядку.

За пять лет, прошедших после свадьбы, Зухра родила Ахмаду-палвану трех дочерей.

Тот, страстно мечтавший о сыне, поначалу еще крепился, но после рождения третьей дочери не выдержал и взмолился:

— Послушай, жена, в каждом деле должна быть мера... Кончай рожать дочерей. На один дом и трех достаточно с лихвой. Как бы нам не поссориться...

Но, даже несмотря на такое серьезное «предостережение», в следующие пять лет Зухра родила еще трех дочерей.

Можно себе представить, что испытывал при этом Ахмад-палван. Каждый раз, когда приближались роды, он становился перед женой на колени и умолял ее:

— Жenuшка, родная, если подарить сына, я для тебя ничего на свете не пожалею! Ну, постарайся, пожалуйста!..

А Зухра, будто и в самом деле чувствуя себя виноватой, тихо шептала:

— Хорошо... я постараюсь...

Во всей округе не осталось врача, которому Ахмад-палван не показывал бы жену. Но врачи, словно сговорившись, только улыбались и повторяли, что Зухра совершенно здорова, и все, мол, будет хорошо. А долгожданного сына все не было и не было.

После рождения шестой дочери чаша терпения Ахмада-палвана переполнилась.

Были у него друзья-приятели и уж кто-кто, а они отлично понимали, как необходим настоящему мужчине хотя бы один славный сынок, этакий смысленный и глазастый карапуз... И когда разговор упирался в эту болезную для Ахмада-палвана тему, его старались утешить, ободрить.

— Да не изводишь ты так,— как-то сказал ему шутиливо закадычный друг Фазыл.— Если поразмыслить, что может быть лучше дочери? Помощница в доме. Как говорится, украшение жизни... Я, конечно, желаю тебе жить вечно, но, к примеру, если однажды случится тебе помереть, то дочери твои в грязь лицом не ударят. так заголосят «папочка родной», что вся Бухара услышит и содрогнется...

Сказать по правде, в одну из тяжелых минут мелькнуло у Ахмада-палвана: быть может, развестись с женой и создать новую семью? Но он тут же прогнал эту предательскую мысль. Ведь несмотря на все переживания, дочурок своих он очень любил. Придет, бывало, с работы усталый, а они с веселым гомоном окружают его, карабкаются на плечи, будто муравьи, глазенки блестят... Всю усталость как рукой снимает. Дочурки у него

одна другой симпатичнее. Как нежные весенние цветы.

Да и жену свою Ахмад-палван, несмотря ни на что, продолжал любить и прекрасно знал, что она отвечает ему взаимностью.

Эх! Был бы у них хоть один сынок!

Ахмад-палван по-прежнему молил жену и надеялся.

А Зухра тем временем продолжала рожать девочек.

Когда родилась восьмая, он, всем своим существом понимая, что жена в этом несколько не виновата, не удержавшись, сказал ей в сердцах.

— Эх, жена, видать, ты создана только для того, чтобы плодить дочерей... Ты жизнь мне сгубила!

Целый день, потемнев от горечи, пролежал он ничком на постели.

И Зухра, не сумевшая оправдать надежд любимого человека, как-то сникла...

С той поры Ахмад-палван день ото дня все больше впадал в глубокое уныние...

Он по-прежнему продолжал оказывать услуги на тоях и других торжествах, боролся по праздникам. Но пропал куда-то былой азарт, исчезла увлеченность. Им овладело безразличие: пусть хоть всю дорогу завалят булыжниками, пусть не только машина, но и шофер уязнет по уши в грязи, он равнодушно пройдет мимо. Ахмад-палван стал терпеть поражения в борьбе, но, похоже, они его мало огорчали — он лишь криво улыбался и молча отходил в сторонку... Вот тогда-то он и стал Ахмадом-ака!

Но это еще не все. Когда в доме одни женщины, как уберечься от их влияния? Частенько в разговоре Ахмад-ака, ловя себя на том, что с его языка то и дело срываются выражения, вроде «ой, да что вы говорите?» или «ой, да не может быть!», очень конфузился.

А жизнь шла своим чередом...

Дочери Ахмада-ака подросли. Вот уже старшую выдали замуж...

Однажды вечером — Ахмад-ака работал во вторую смену — в цех вбежал запыхавшийся Фазыл.

— Гони суюнчи, подарок давай за добрую весть! — закричал он.

— Чего? Какой еще суюнчи? — изумился Ахмад-ака.

— Дочь твоя старшая, Малохат...

— Чего? Чего?.. — в цехе было шумно, и Ахмад-ака приставил к уху ладонь, чтобы лучше слышать.

— Жена твоя только что звонила из роддома, говорю... Малохат родила. Двойню... Мальчики!

Ахмад-ака застыл на миг, словно изваяние, а затем стремглав выбежал из цеха...

Во дворе дома подхватил Зухру могучими руками, поднял ее, прижал к груди и, задыхаясь от бега и радости, прерывисто пробасил:

— Ай да жена!.. Ай да молодец!.. Недаром я любил тебя... Подумать только, сколько у нас еще будет славных джигитов! Сколько внучат подарят нам наши дочери!.. А я так мучил тебя все время... прости...

На глаза Зухры — большие ясные глаза — навернулись слезы. Перед ней был прежний Ахмад... Ахмад-палван!..

ГОРОДСКАЯ НЕВЕСТА

Нурия сидела на корточках в углу комнаты. До нее доносились дробные звуки бубна, неясный шум. Но она ничего не видела. Голова ее была закутана большим платком, а перед глазами висел белый занавес-чимилдик.

— Ну-ка, вставайте... поторапливайтесь!

Нурию со всех сторон окружили женщины.

Как во сне, она увидела неподалеку незнакомого

парня, в черном костюме, в нахлобученной чувсткой тюбетейке. На его скуластом лице под густыми, нахмуренными бровями сверкали темные глаза. С первого взгляда он казался человеком скрытным, сердитым.

На миг она словно бы очнулась и заметила, что сидит на арбе, которая тихонько движется по застывшей в желтоватом свете луны широкой равнине. Слышалось фыркание лошади, женский шепот:

— Жених, говорят, табельщик?

— Да, достойный человек...

Нурия почувствовала, что ее голова клонится к плечу сидящей рядом женщины. Незаметно для себя она задремала.

Что-то загрохотало, голоса женщин стали оживленнее. Теперь арба раскачивалась, словно бешик*. Открыл глаза, Нурия увидела, что уже начало светать. Издалека доносились крики петухов, беспокойный лай собак.

— Вот и приехали...

Показались белесые в лучах восходящего солнца глинобитные дувалы кишлака. Арба остановилась. На широкой площадке перед высокими двухстворчатыми воротами пылал костер, вокруг которого столпились старики, женщины, подростки, босоногая детвора. И вновь Нурия увидела того скуластого парня с нахмуренными бровями. Его тюбетейка все так же была надвинута на лоб. Парень подошел к арбе и, взяв Нурию за руки, двинулся вокруг костра...

И вот она снова сидит в углу комнаты. Снова дробные звуки бубна, шум веселья, и снова она ничего не видит. Тоска сжимала ее сердце. Мысленно она прощалась с родительским домом, подругами, городом. Вспомнилась мать, умершая, когда Нурие не исполни-

* Бешик (узб.) — люлька.

лось и восьми; мачеха, ставшая вскоре хозяйкой в доме. Отчего-то вдруг вспомнился паренек-ремесленник с большими добрыми глазами, который приходил по делам к отцу и однажды улыбнулся ей. И теперь, расставаясь с городом, она будто расставалась со всем, что дорого...

— Все равно вернусь в город!— подумала Нурия.— Сбегу, но вернусь...

* * *

То было время, когда только кончилась война и страна залечивала тяжелые раны. Сполна хлебнувшие невзгод, люди всей душой тянулись к тому светлому, что заключалось в понятиях «дом», «семейный очаг», «счастье»...

С первых же дней ощутив доброе отношение к себе со стороны мужа, Кадыржана, и его родителей — Муслима-бобо и Акилы-биби, Нурия быстро освоилась в новой семье. Невеселые мысли, одолевавшие девушку в свадебный вечер, теперь казались ей случайными.

Она была хрупкой, миниатюрной. Большие лучистые глаза придавали ей особую прелесть, а маленькие, нежные руки подчеркивали ее женственность. Перед замужеством Нурия работала в швейной артели, дома всегда помогала по хозяйству мачехе и вообще не отлынивала ни от какой работы. Но все же она была «городская», не знавшая тяжести сельского труда.

В доме, где теперь жила Нурия, было двое ворот; одни открывались на улицу, другие — в сад. Тропинка вела от порога через сад, за которым простиралось бескрайнее хлопковое поле. И куда ни глянь, повсюду множество дел, требующих больших и малых забот, которым, казалось, не будет конца, несмотря на то, что люди трудились, не покладая рук. Не прошло и недели после свадьбы, как Нурия почувствовала, что ей

нужно многому учиться — доить корову, готовить каймак, косить траву... Кишлачная жизнь казалась чужой, Нурия остро почувствовала, что ей надо или принять эту жизнь, или переехать в город...

* * *

Пришла осень — богатая и щедрая.

Изо дня в день Нурия училась у Акилы-биби. А дел у свекрови хватало. Высокая, плотная, подвижная, она успевала всюду. Только что была в кладовке или на веранде, а теперь уже хлопочет во дворе под кряжистым тутом, а то и на крыше дома. У нее были сильные большие руки, румяные щеки, темные глаза. Даже садясь передохнуть, Акила-биби как бы высматривала: что еще не сделано?

— Невестушка, келинджан, присядьте, не утруждайте себя,— говорила Нурие свекровь.— Наша кишлачная работа тяжела для вас... я сама все сделаю...

Муслим-бобо тоже трудился, засучив рукава.

Дни напролет он ковырялся в саду и в огороде, насупив мохнатые брови. Со стороны он мог показаться недовольным и сердитым, но стоило присмотреться к нему внимательней, как каждый обращал внимание, какие у него молодые и добрые глаза.

— Доченька, не утруждай себя,— говорил и он.

С приходом осени одному из членов семьи предстояло выйти на уборку хлопка. Акила-биби, как всегда, сказала: «Я пойду».

Но уж тут Нурия решительно воспротивилась: «Разрешите пойти мне». Она бы сгорела от стыда, случись иначе. Нурия и представить не могла, какой это нелегкий труд. Другие женщины приносили на хирман по сто-двести килограммов хлопка, а она — пятнадцать-двадцать. Нурия стеснялась подруг, переживала, что такая неловкая...

Однажды пожаловалась мужу, к которому успела привыкнуть. Тот, вздохнув, ответил, буквально повторив слова матери: «Наша работа вам не под силу...»

Но Нурия не смирилась. Она вовсе не чувствовала себя беспомощной и, наблюдая за соседками, постепенно постигала тонкости сбора. В конце сезона Нурия собирала хлопок не хуже других...

* * *

Шли годы...

Нурия стала опытной сборщицей, однажды о ней даже написали в газете...

Нурия получала премии за разведение коконов.

Родила сына...

Как-то хмурым осенним вечером Муслим-бобо пришел из сада, устало прилег и больше уже не встал...

Прошла осень, зима...

Весной Нурия заговорила с Кадыржаном о городе, о котором никогда не забывала.

— Давай посоветуемся с матерью,— предложил Кадыржан.

Акила-биби молча выслушала их.

— Ладно,— согласилась она,— только я не поеду...

— Да как же мы вас одну-то оставим!— воскликнула Нурия.— Все вместе и поедем...

— Нет, я не поеду,— повторила старуха.— А вы поезжайте, я согласна... только мое место здесь, возле моего старика, все равно я не смогу его бросить...

Нурия почувствовала, что придется подождать. Может быть, мать передумает. Сейчас трудно уговорить ее, но еще труднее — оставить одну...

* * *

А годы шли...

Когда тоска по городу становилась особенно острой, Нурия выбиралась на два-три дня к родителям.

Как-то летом она приехала в город вместе с сыном Бахромом. Хотела купить ему кое-что перед школой, а заодно показать город.

Вечером сидели за дастарханом в доме, где прошло ее детство.

— Доченька,— обратился к ней отец, Назар-ата,— нам в наследство от родственников достался небольшой дом с двориком. Может, переедете теперь?

— Не знаю...— нерешительно проговорила Нурия.

— Вы недавно свекровь схоронили... теперь решение зависит только от вас.

Нурия почувствовала, как в сердце ее словно вспыхнуло что-то, но почему-то быстро стало гаснуть. Она до сих пор не знала, рад ли сынишка городу. Взглянув на Бахрома, она поняла это. Перед ее взором возникли ветви гранатов с цветами, похожими на языки пламени, пчелиные ульи, которые муж недавно привез и поставил в саду, бескрайние поля и хирманы с белоснежными горами хлопка, холм, где покоятся Муслим-бобо и Акила-биби... И она поняла, что все это и есть ее жизнь.

— Что решим, доченька?— улыбаясь, спросил Назар-ата.

— Город, конечно, хорошо, но я, право, не знаю...— задумчиво произнесла Нурия.— Сколько времени я была уверена, что вернусь сюда, отец. А теперь вот чувствую, что хотя и родилась в городе, а человеком стала в кишлаке...

Назар-ата молча склонил голову.

На следующее утро Нурия с сыном уехали в кишлак — домой...

СТАРИКИ

В Бухаре, на гузаре Шояхси с давних пор стояли два дома с большим общим двором, разделенным попо-

лам глинобитным дувалом; здесь проживали семьи двух стариков — Шарифджана и Курбанбая.

Старики дружили много лет.

Как-то раз Шарифджан пришел к соседу и завел неожиданный разговор:

— Я, акамулло, купил новый дом. Скоро перееду...

— Да что вы... Как же так...— растерялся Курбанбай.

— Ничего не могу поделать, акамулло, дело решенное,— вздохнул Шарифджан.— Но вот что посоветую... Сломайте вы этот дувал, и весь двор станет нашим. И дом занимайте...

— Оно бы хорошо, да где взять денег, чтобы купить участок?— замялся тот.

— Станный вы человек, акамулло,— сказал Шарифджан.— Вы же знаете, что я никогда не стану настаивать на плате. К тому же, вам все равно понадобится жилье для вашего сына Кудратджана.

Когда Шарифджан упомянул о Кудрате, оба старика смутились. У Шарифджана была взрослая дочь Хафиза. Парень и девушка вместе выросли, учились в одной школе, дружили с детства. Три года назад Кудрат ушел на фронт. Но вот война, слава аллаху, окончилась, и теперь его возвращения ждали оба семейства, мечтали сыграть свадьбу. Но старики никогда не говорили об этом между собой, они вообще не любили говорить лишнее.

— Значит, акамулло, по рукам!— сказал Шарифджан, собираясь уходить.

— Э, погодите...— остановил его Курбанбай. У него были кое-какие сбережения на черный день, которые он держал под ковром. Достав деньги, он сунул их Шарифджану в руку.— Возьмите пока... А остальное, если вы не против, выплатим постепенно...

— А, ладно...— как бы неохотно согласился Ша-

рифджан.— Только вы не расстраивайтесь оттого, что я переезжаю, акамулло. Мы никогда не будем чужими...

— Конечно, конечно...— кивнул Курбанбай.

Вскоре Шарифджан перевез свое имущество на новое место.

Курбанбай сломал дувал и обставил в освобожденном доме большую комнату для сына, радостно предвкушая его приезд, грядущий свадебный той.

Но, с другой стороны, теперь прибавилось и беспоконных мыслей. Работал Курбанбай в большой парикмахерской, клиентов было немного, так что выручка была мизерной. А денег требовалось все больше — и на уплату за дом, и на ремонт, и на свадьбу сына... Поразмыслив как следует, Курбанбай зачастил к председателю своей артели, уговаривая того дать ему разрешение на открытие маленькой парикмахерской, где, как он надеялся, недостатка в клиентах не будет.

* * *

Однажды Курбанбай пришел домой раньше обычного — солнце едва склонилось к горизонту.

Дочка Нарзи, обвязав голову платком, подметала политый двор.

— Где мама?— спросил Курбанбай.

— К соседке пошла...

— А Карим?

— Играет где-то здесь...— Нарзи взглянула на сверкающее в косых лучах солнца окно низенькой пристройки, затем, бросив метлу, пошла за матерью.

У Курбанбая одна нога была короче другой. Оттого он ходил прихрамывая, худое, длинное тело его при этом покачивалось. Проковыляв к пристройке в углу двора, Курбанбай громко позвал:

— Карим!

Одностворчатая некрашенная дверь пристройки со скрипом отворилась, показался подросток с растрепанными волосами.

— Да, дада?..

— Завтра в школу не ходи, сынок. Дело есть...— сказал Курбанбай.

За воротами послышалось шарканье шагов. Во двор вошла Салтанат, в черном камзоле поверх ситцевого платья в белых цветочках, за ней — Нарзи.

— Раис разрешил открыть мастерскую,— улыбаясь, сказал Курбанбай. Его увядшее лицо ожило.

— Счастье-то какое!— засветилась Салтанат.

— Теперь дела пойдут!— уверенно воскликнул Курбанбай.— Поскорее бы вернулся Кудратджан...

* * *

Наутро, все еще находясь в радостном настроении, Курбанбай велел Салтанат приготовить к ужину плов. Салтанат отправилась на базар за продуктами, а Курбанбай вместе с сынишкой принялись собирать вещи, подходящие для оборудования парикмахерской.

Артель предоставила старику маленькую комнатушку на базаре. Когда-то — до войны — здесь была парикмахерская, но вот уже много лет на двери висел огромный замок.хлопот предстояло немало — подмести помещение, заменить разбитые стекла в окне, прикрепить вывеску «Парикмахерская», да мало ли чего!

Курбанбай торопил сына:

— Что ты так долго возишься...

В это время в ворота постучали.

Карим ветром пронесся мимо отца и выбежал во двор. Паренек, судя по всему, вовсе не интересовался заботами отца и был непрочь увильнуть от работы.

— Дада, Шарифджан-ата пришел...

Курбанбай бросил на пол кургузый веник и прошагал к двери.

Шарифджан по-прежнему навещал старого приятеля, хотя теперь для этого ему требовалось пересечь весь город.

Поздоровавшись с парикмахером, он неизменно шутил: «Борода отросла слишком!» Маленький и щупленький, в большой не по росту телогрейке и в большой фуражке, он напоминал подростка, одетого в отцовские вещи.

Обычно старики прогуливались, степенно беседуя, а иногда отправлялись в гости, хотя Курбанбаю было жаль терять драгоценное время. Притом, все чаще его одолевали мучительные раздумья о том, что он еще не расплатился с долгом, а также о том, что давненько уже нет от родного Кадырджана ни письма, ни весточки.

Поздоровавшись, он пригласил Шарифджана в дом, а сам наказал Кариму:

— Сынок, принеси мои инструменты и приготовь горячей воды...

Тем временем Шарифджан, раздевшись, уселся на табурет и заговорил:

— Вы ведь знаете Саиджана-магазинщика, акумуляло? Он сегодня устраивает той.

Парикмахер отозвался не сразу. Он молча намылил Шарифджану щеки и подбородок, затем наточил бритву и только тогда произнес:

— Сегодня я не смогу пойти на той. Сказать по правде, вчера я получил разрешение открыть парикмахерскую. Так что, надо наводить порядок.

Шарифджан не настаивал.

— Если сможете, заходите вечером,— попросил

Курбанбай.— У нас сегодня свой праздник. Плох будет... Побеседуем от души, приходите.

— Хорошо, хорошо...— согласился Шарифджан.

И все же Курбанбай заволновался. Ему показалось, что своим отказом он обидел друга. И опять нахлынули тревожные думы о невыплаченном долге, о сыне...

Проводив друга, Курбанбай зашел в комнату и увидел вернувшуюся с базара Салтанат, которая хлопотала по хозяйству.

— Где Карим?— недовольным тоном спросил он.

— Ушел в школу,— пожалала полными плечами Салтанат.— А разве вы не пошли с другом на той?

— На той! Будто у меня нет других дел...— пробурчал Курбанбай. — А этот паршивец Карим так и норовит улизнуть!

— Он подумал, что вы пойдете на той...— оправдывала сына Салтанат.— Ребенок ведь не знал...

— А где Нарзи?

— Пошла за водой... Водопровод два дня не работает. В доме ни капли воды...

Курбанбай нервно махнул рукой, взял свои инструменты и быстро заковылял к двери. На пороге он неожиданно остановился и, подняв с пола куцый веник, сунул его в сумку.

* * *

С работы Курбанбай вернулся, чувствуя сильную усталость. А тут еще под горячую руку попался этот сорванец Карим.

— Дада, знаете, вас...— видимо, он хотел сообщать отцу нечто важное. Но Курбанбай не стал слушать. Ему показалось, что если он сейчас же не задаст сыну взбучку за утреннее непослушание, то глухое раздражение, владевшее им целый день, никогда не уляжется.

— Ты почему... ты...— прошипел он, схватив сына за ухо и с силой вывернув его.

Карим повалился наземь, заорав дурным голосом.

Курбанбай, несмотря на всегдашнюю суровость, обычно не бил детей. Ему тут же стало жаль Карима. Согнув хромую ногу, он склонился над сыном:

— Ну, полно! Будет! Сам виноват. Зачем выводил меня из терпения?— говорил парикмахер.— Все мы были детьми. Но никогда не осмеливались послушаться своих отцов... Вспомни хотя бы своего старшего брата. Он все делал без лишних слов, никогда не обижал меня...

На крик Карима из кухни выбежала Салтанат и остановилась неподалеку. Услышав из уст мужа о старшем сыне, ступила вперед:

— Вас тут два человека спрашивали. Один — старик, а другой — молодой... Сказали, будто дело у них к вам... Я в доме была, их не видела. Карим с ними говорил...

— Какое у них может быть дело?— нахмурился Курбанбай.

— Не знаю. Сказали, погуляют немножко и снова зайдут...

Курбанбай не стал спрашивать Карима. Устало сгибая ноги, он печально проковылял по двору.

Карим, который сидел сгорбившись на пороге пристройки, вдруг звонко воскликнул:

— Дада, Шарифджан-ата пришел.

* * *

Следом за Шарифджаном в воротах появились еще два человека: старик в небрежно повязанной чалме и высокий симпатичный парень в солдатской форме. Курбанбай провел гостей в большую комнату. Прихрамывая, суетливо расстелил дастархан.

— Присаживайтесь, гости дорогие!

Несколько раз он перелил чай в пиалу и обратно, чтобы тот лучше заварился. Разломил лепешку. Ему не терпелось узнать, зачем пришли незнакомцы, но он точно соблюдал ритуал:

— Мы вам рады.

Похожий на степняка старик сидел насуспенный, будто воды в рот набрал. В его простодушном, несколько тусклом взгляде сквозило неопределенное выражение. Молодой же играл желваками, словно не решаясь сразу сказать о цели прихода.

Парикмахер подошел к двери и велел Салтанат нести плов. Вернувшись к дастархану, он снова принялся потчевать гостей:

— Угощайтесь, гости дорогие. Прошу...

И на этот раз на его слова никто не откликнулся. Наконец, молодой вымолвил: «Мы уже ели» и снова замолчал.

Курбанбай бросил на него умоляющий взгляд, и это, кажется, подействовало.

— Ата, как вы поживаете, здоровы ли?— повел тот беседу.

— Хорошо... Спасибо... здоров...

— Я, ата, издалека вернулся... Война, скверная штука, чего мы только не повидали, ата... Человеку приходится быть стойким...

Курбанбай оторопело смотрел на него, будто спрашивая: «А ко мне какое это имеет отношение?» Но тревога все настойчивее вползала в душу.

— Я, ата, был вместе с вашим сыном,— продолжал солдат.— Мы обещали друг другу, если с одним что случится, другой расскажет дома... Долг чести, так сказать... Ваш сын Кудрат был рядом со мной, когда в него попала пуля, атаджан... Что было потом, не знаю, атаджан... Атака, наступление...

Курбанбай никак не мог понять, о чем толкует солдат.

— С моим сыном что-нибудь случилось?— растерянно спросил он.— Скажи, сынок, говори прямо.

Солдат опять опустил голову.

— Что с ним случилось, говори, сынок...— взмолился парикмахер.— Мой сын... умер?

Солдат молчал.

Курбанбаю будто полоснули по сердцу острым клинком. И ему вдруг показалось, что гость попросту врет, плетет какую-то небылицу про смерть сына.

Карим принес дымящийся плов на большом лягане и поставил его на дастархан.

Курбанбай внимательно посмотрел на сына. Увидев на его лице выражение безмятежности, живые искорки в глазах, парикмахер подумал про себя, что единственное слово — «умер» — еще ничего не означает, от слова человек умереть не может.

— Пожалуйста, милости просим, угощайтесь! — машинально произнес он.

Сидевшие за дастарханом не шелохнулись. Курбанбай поочередно оглядывал своих гостей. Шарифджан сидел, низко опустив голову, из глаз его текли слезы.

И тут Курбанбай словно отрезвел. До него вдруг дошло то, что все, что он слышал о старшем сыне — правда.

— Сынок! Сынок родненький!— прошептал парикмахер. Глаза его застлал мрак, в котором все потонуло.

Когда тьма рассеялась, Курбанбай понял, что гости разошлись. Салтанат сидела у изголовья и горько плакала. В глазах Карима, почему-то стоявшего на коленях, застыл ужас.

Посреди комнаты все еще был расстелен дастархан. Но к плову никто так и не притронулся..

Потекли будни.

Курбанбай по-прежнему ходил в свою крошечную парикмахерскую, но интерес к работе у него пропал. Теперь он нередко уныло сидел дома, а иногда выбирался в мечеть, стоявшую в центре гузара.

Часто он приходил домой в подавленном состоянии и жаловался жене:

— Сегодня так намучился с одним клиентом. Рука проклятая трясется. Работа тонкая, а рука совсем не слушается...

С каждым днем он все больше мрачнел, подолгу сидел на корточках и уныло повторял:

— Мне с самого начала не везло...

И только продолжающиеся посещения Шарифджана несколько скрашивали его печаль.

Но вот однажды, когда они сидели и пили чай, Шарифджан как бы между прочим сказал парикмахеру:

— У нашей дочки той... годы ведь идут, акамулло... скромный той... Вы уж извините...

Эти слова ошеломили Курбанбая. Надо сказать, что в последнее время его отношение к другу несколько изменилось. Мысль о долге становилась все навязчивее.

— Никогда не поверю, что он ходит в такую даль только для того, чтобы побриться... Ясное дело, должок хочет получить, — ворчал парикмахер. — Думает... Борода только предлог...

Порой, не в силах сдержаться, он говорил Шарифджану:

— Вы не волнуйтесь... Я вот-вот расплачусь с вами... Немного осталось ждать.

— Да оставьте вы, акамулло, — отвечал Шарифджан. — Мне ничего не нужно, уверяю...

Но едва Шарифджан уходил, как парикмахер заводил старую песню:

— Лжет. Скажите пожалуйста, ничего не надо. Гляди-ка! Шайтан!

Теперь, когда дела у Курбанбая шли неважно, он нервничал при одном виде Шарифджана.

— О боже, вот навязался на мою голову!— бормотал он, ковыляя по двору.— Нет, надо найти какой-то выход... Расплатиться...

А Шарифджан словно бы и не замечал капризов друга. Он по-прежнему приходил к Курбанбаю, иногда уговаривал того сходить к кому-нибудь на той или поминки, если по дороге приходилось тратиться, то без лишнего слов платил из своего кармана. Нередко он приходил с лепешками или фруктами, купленными на базаре, и с виноватой улыбкой клал гостинец на дастархан.

И всякий раз у Курбанбая появлялось чувство, что его долг растет.

— Возьмите,— сказал он однажды, протягивая Шарифджану все, что заработал в последнее время. — Я знаю, за дом этого недостаточно, но сейчас у меня больше нет...

— Оставьте, друг,— Шарифджан отвел его руку:— Не надо...

— Возьмите, не ломайтесь,— обозлился парикмахер.— Вы ведь только за этим и приходите...

Шарифджан втянул голову в плечи:

— Ладно, если вы так думаете, ладно...— смущенно пролепетал он и поднялся с места.

— Нет, погодите!— воскликнул, все больше распаляясь, парикмахер.— Я должен уплатить долг сполна. Не считайте меня подлецом, таксыр, я заплачу... Вот, это тоже вам... И это...

Курбанбай рванул со стены коврик и сунул его Шарифджану, потом схватил большие красивые

настольные часы и бросился за приятелем, который был уже у порога:

— Возьмите, таксыр, я должен выплатить долг... Берите, иначе вы меня не оставите в покое...

Шарифджан, словно мальчишка, которому вlepили пощечину, снова втянул голову в плечи. Глаза у него странно затуманились. Не вымолвив ни слова, с ковриком под мышкой и с часами в руке он вышел из дома.

Курбанбай на миг почувствовал облегчение. Но оно быстро прошло, и ему стало совсем скверно. В горле пересохло, на глаза навернулись слезы.

Парикмахер вышел во двор. Ему вдруг показалось, что Шарифджан еще не ушел, а стоит за воротами.

Но ни за воротами, ни на улице никого не было. На пороге лежал коврик, а на нем — часы и деньги.

* * *

Временами парикмахер вспоминал Шарифджана, даже ждал его прихода. Но Шарифджан как в воду канул.

Руки Курбанбая стали совсем непригодными к работе. Он передал мастерскую другому и сидел дома.

Как-то к нему подошли Карим и Нарзи.

— Дада,— сказала Нарзи,— не переживайте.

— Мы оба перешли в вечернюю школу, на работу устроились, дада,— добавил Карим.

«Выросли дети...» — подумал Курбанбай.

* * *

Однажды вечером Нарзи расстелила во дворе шолчу — небольшой дмотканый палас и, усадив стареньких родителей чаевничать, ушла на кухню.

С улицы пришел Карим, чем-то заметно расстроенный, опустил перед родителями на корточки, выпил пиалу чая.

— Дада, знаете ли... Сегодня я случайно увидел, как люди несли гроб...

— Зачем ты об этом говоришь, сынок?— спросил отец.

— Это, знаете, дада, Шарифджан...

Ошеломленный Курбанбай невольно поднялся с места. Захотелось немедленно отправиться в дом Шарифджана, выразить соболезнование, посочувствовать...

Но... в это время звякнуло дверное кольцо. К кольцу была привязана веревочка и обычно закрытые ворота можно было легко открыть с улицы, о чем знали только домашние.

Карим удивленно направился к воротам, но неожиданно остановился.

Выбежавшая из кухни Нарзи тоже застыла на месте как вкопанная.

— Бра-ат... брат мой...— наконец воскликнула она.

Салтанат, упершись руками в землю, приподнялась было, но тут же снова села. А Курбанбай вообще не смог пошевеливаться.

Во двор вошел парень в солдатской форме. Кудрат! На его смуглом лице было несколько шрамов, пустой рукав гимнастерки заткнут за ремень. Здоровой рукой он поочередно обнял сестренку и братишку. Потом подошел к родителям и опустился перед ними на колени.

У Курбанбая перехватило дыхание:

— Сынок... сынок родной...— из глаз покатались слезы...:

* * *

Курбанбай совсем постарел.

Все чаще он вспоминал Шарифджана, у него даже появилась привычка время от времени говорить со своим сыном о покойном друге.

— Да.. все-таки Шарифджан был хорошим человеком... Бедняга хотел мне добра, а я, глупец...— и он горестно опускал голову.

Иногда старик шел на городской вокзал и долго печально прогуливался по перрону, словно ожидая приезда какого-то дорогого ему человека А после шел на кладбище — к могиле Шарифджана.

СТУЖА

Лютая, снежная зима стояла в Бухаре. Шел тысяча девятьсот семнадцатый год по европейскому календарю. Народ голодал. Участились случаи продажи детей: одного ребенка — за полмешка муки, чтобы спасти остальную ораву...

На стылых улицах бесплотными призраками бродили бездомные нищие. Отыскав затишек, безропотно замерзали они по углам. Только укутанные в тряпье мачоч — таджикские цыгане, спустившиеся с горных селений, — еще бодрились, ходили от двора к двору в поисках работы, хлеба, подачки...

Не разумели они: голод...

Кому какое дело до нищих и бездомных, тем более до мачоч?

Голод...

В нижней части квартала Чорнимор — одиноко стоящая лачуга. Крыша провисла от снега, внутри темно, сыро, промозгло. Посередине лачуги — черный сандал, глиняный сосуд, прохудившееся корыто. Поодаль — глубокая корзина. В ней тоскливо раскачивается двухлетний Дильшод, закутанный в отцовский чалан. Мальчик слушает мать. Он уже долго слушает и раскачивается.

— ...Отец твой посильщиком был... На базаре арба

его переехала. Колесо передало его вот здесь... в поясице, сынок... Сколько бы ни вилась ниточка, сынок... Вот здесь... Сейчас... Ниточка, сынок...

Мунаввар-биби, мать ребенка, сидя у тусклого окошка, пытается шить. Она напрягает глаза, слезливо шурится, игла дрожит в непослушных пальцах. Лишь временами говорит она вразумительно, но вот опять переходит на молитвенный речитатив, обращаясь то ли к всеблагому богу, то ли к душе умершего мужа...

Она хорошо помнит своего Маджида. Вот они сидят за чимилдиком — занавесью, отделяющей новобрачных на праздничном тое. Там она увидела Маджида впервые. Муж крепко и ласково сжимал ее пальцы, прикладывая ее ладонь к своим глазам и губам, и она чувствовала его колючие, тонкие усики.

Он говорил: «С детства я работал в доме у казия* и в награду за свои труды нашел тебя, Мунаввар... Теперь мы будем у него работать вдвоем. Представляешь, как нам будет хорошо!..»

Через год Камалиддина-казия перевели из большого Бухарского тумена в маленький Вабкентский. Он прогнал Маджида, сказав напоследок: «Я видел у тебя запрещенную газету «Бухорои шариф». Ты, проклятый, часто бываешь на хлопкоочистительном заводе. Это место сборища смутьянов. Давно я хотел прогнать тебя, теперь самое время. Из-за таких как ты, отступников, мне приходится оставлять Бухару...»

Даже ломаного гроша не получил Маджид.

«Подыскивай себе другое место, — сказала ему жена казия. — А Мунаввар пусть остается у меня».

«Сколько лет даром работал на этого негодяя!» — ругался Маджид.

Он устроился носильщиком на базаре.

* Казий (узб.) — судья, судивший по законам шарията.

— Потом — была пятница, вдруг понесшая лошадь, громадное колесо тяжелогруженной арбы...

А вскоре наступили холода, голод. Жена казняя выгнала Мунаввар с младенцем на руках.

—...сегодня ни бог, ни дьявол не дознаются правды... Если слабый скажет, что вчера он был сильным, а бедный скажет, что был богатым, они скажут правду... Нет у меня лыиче силенок, не то нанялась бы я в прислуги да заработала бы на жизнь... И не боялась бы я за тебя... Я за тебя боюсь, сынок...

— На-на,— пропищал Дильшод, выпростав из широкого рукава синюю ладонь.

Мунаввар смолкла, но тотчас заговорила:

— Гляди-ка, сынок, небо разверзлось... Нет дров затопить сандал. Связка дров, знаешь, сколько стоит? А холод-то можно перетерпеть.. Уж я-то как-нибудь вытерплю, а вот тебе, сынок... Позавчера мы последнюю муку с супры* вылизали... А вчера пекарь дал нам целую лепешку. А что сегодня? Попросить у соседей?.. Не дадут. У самих нет...

Мунаввар-биби положила рукоделие — рубашонку для сына, растерла ооченевшие пальцы.

Опять задумалась...

Ветер воет, наметая сугробы. Скрипит лачуга. Подтачивает голод.

Еще немного — и померкнет все вокруг.

Очнулась Мунаввар-биби.

— Хоть кусочек бы черствой лепешки, мы бы с тобой размочили его в воде...

Спохватившись, глядит на сына.

— Пойду я в оди^н место... Есть крохотная надежда. Пойду я... Скажу жене казняя... Я скажу... Знаешь, сынок, сколько задолжал казий твоему отцу? Да и я

* Супра (узб.) — скатерть, на которой разделявают тесто.

немало проработала у них... Хлеба-то они мне, конечно, не дадут, а вот горсточку муки, может, не пожалеют. Попросить у них не зазорно, сынок, потому что мы свою законную долю хотим... Я и хворосту найду, зажжем огонь в очаге... Ну ладно, пойду, а ты смотри, умницей будь, не выпади из корзины. Сам-то небось не укутаешься...

Мунаввар-биби надела паранджу, обула кавуши, плотнее укутала чапаном малыша. Затем быстро проскользнула в дверь, чтобы не впустить вихрь, чтобы не осыпал тот колючими иголками сынишку.

Мунаввар спешила в верхнюю часть квартала. Тяжело идти по рыхлому снегу. Немного помогает ветер в спину. У пекарни чуть замедлила шаг, на ходу заглянув в окно. Шагнула дальше.

Перед домом казия остановилась, взялась за дверное кольцо, хотела постучаться, да ворота сами открылись. Уже на пороге комнаты, освещенной керосиновой лампой, она огкинула паранджу.

Ровные, одна к одной, в нише лежали лепешки. Улыбнувшись хозяйке, Мунаввар сделала вид, что не замечает их. Нельзя смотреть голодному на хлеб. Хозяйка полулежала, просунув ноги в сандал. Девочка лет пяти перебирала ей волосы.

— А-а... это ты! — нахмурилась хозяйка. — Ходят тут всякие... Рады, что в доме нет мужчины!

Мунаввар заговорила бойко, не помня себя:

— Пришла попросить у вас горсточку муки... хлеба бы... ребенок голодает... Прошу вас, дайте, не откажите...

Хозяйка сощурила глаза:

— Ваш хозяин занимает сейчас должность казия в маленьком тумене Вабкент. Если бы он был главным

казнем священной Бухары, зерно лежало бы у нас мешками! А так... Откуда здесь быть хлебу? Проси аллаха! Смиренно просящему аллах воздаст!..

У Мунаввар-биби замерло дыхание. Привалившись к косяку, она сползла на пол...

— Не притворяйся, негодная!— откуда-то издалека донесся разгневанный голос хозяйки.

Собрав последние силы, Мунаввар встала.

Орлицей летела она домой, сжимая драгоценный сверток. Мысленно она уже говорила сыну: «Жена казния крошки не дала, а ведь сколько мы работали на них! Тогда я забрела в пекарню, хоть согреться немного... А пекарь тандыр* не затопил, говорит, дрова подорожали, сегодня топить не буду. Только я собралась домой, к двери уже подошла, как он сам подает мне немного муки в чайной обертке. Бери, говорит, не верю, что зашла согреться. Вот как! Знаю, говорит, ребенок у тебя голодает...»

Орлицей летела к сыну Мунаввар-биби — так ей казалось. И вдруг она поняла, что давно уже сидит в снегу. Злой ветер сек обнаженную голову. Она хотела поправить паранджу, подняться, но... в тот же миг увидела чайную обертку, которая, краем застряв в сугробе, билась на ветру.

Она еще долго, бесконечно долго шарила вокруг руками. И слышался ей голос: «Бери, не верю, что зашла просто согреться, знаю, ребенок голодает...». А руки уже не чувствовали холода, по всему телу разливалась горячая истома...

* Тандыр (узб.) — глиняная печь для выпекания лепешек.



На следующий день прояснилось.

В полдень к имаму мечети квартала Чорминор пришел мутавалли* мулла Абдурахим и сообщил:

— Вдова и малолетний сын носильщика Маджида покинули сей бренный мир...

— Да обретут покой их души на том свете!— погладил бороду имам.— Составьте опись имущества в доме. Прочтите заупокойную молитву сами, мне, видит аллах, некогда.

Мулла Абдурахим завершил обряд следующими словами: «Да снизойдет этим двум рабам божьим милость аллаха на том свете!»

Четверо бедняков, сидящих поодаль, равнодушно проведя ладонями по лицу, почтили память усопших.

ПТИЦЫ И СНЫ

«...Ханы и муллы, моля всевышнего о собственной защите, правили народом именем шарриата, как им вздумается. Время от времени вешали, убивали восставших против гнета, объявляя их грешниками, бунтовщиками.

...Сведущие в религии лишь в вопросах ритуального омовения и намаза, не знающие о науке ничего, кроме заглавных листов книг, улемы выступали против всякой неведомой им вещи от имени веры.

Вот в это время в Бухаре... возникли распри между джадидами (молодым, новым поколением) и кадимами (старым, старшим поколением).

...Молодые бухарцы, в массе своей, будучи выходцами из неимущего класса, были объединением людей разных ремесел и занятий».

Это написал Садриддин Айни.

* Мутавалли — попечитель имущества мечети.



Древняя Бухара...

По главной улице, вымощенной брусчаткой, гарцуют на сытых лошадях жандармы.

Богатей в парчовых халатах горделиво прогуливаются по шумным улицам. Прохиндеи-галантерейщики снуют с металлическими подносами, на которых разложен товар — от иглы до жевательной смолки-сакич, и зазывными криками «покупайте, покупайте!» трубят не то что на весь базар, а, похоже, на весь мир.

В истрепанных халатах, со спутанными волосами, безродные, словно ветер, странствующие дервиши-каландары бродят с утра до вечера с унылыми возгласами «ё-ху», постукивая посохами.

В толпе то и дело мелькают продавцы воды — с ведром в одной руке, с касой в другой, тоненькими голосками выкрикивая «яхдакина яхоб!» («вода со льдом»).

Старики в легких летних халатах-яхтаках и чалмах, женщины, закутанные в паранджу, босоногие детишки...

Душный воздух, наполненный хаотическим гвалтом, гнетет, ресницы тяжелеют, словно к ним подвесили камни, кажется, что бродят не люди, а их тени...

Устало скрипит арба, устало покачиваются верблюды, устало ржут лошади.

Сгустившаяся дремота окончательно обволакивает город...

Но вот слышатся крики. Это муэдзины с минаретов призывают верующих на молитву. Их заунывные голоса разносятся во все стороны, вязнут в этом густом тумане дремоты.

Бухарцы неспешно двигаются к мечети, совершают обряд, затем поспешно растекаются по узким улочкам.

И снова азан — призыв на молитву...

Потом наступает вечер, улицы пустеют. В окнах домов мерцают свечи, но вот и они гаснут.

Ночь набрасывает на город свое черное покрывало. Печальная луна и поблескивающие, как слезинки, звезды будто свидетельствуют, что прошел еще один день — прошел по издревне заведенному порядку.

Весна 1917 года (по европейскому календарю) вступила в Бухару раньше обычного. Солнце быстро высушило едва начавшую зеленеть траву. На ветках саженцев жухли крохотные листочки. Птицы, что поначалу щебетали без умолку, попрятались в укромных уголках, будто одурев от духоты.

Накалялись и городские страсти. С новой силой вспыхнули давние споры между приверженцами старой и новой школ. Среди первых были, в основном, старики, вторых поддерживала молодежь.

— От чтения газет никакого вреда нет! — утверждали молодые.

— Читая газеты, захочешь узнать мир. А это ведет к ослаблению веры. Вот в чем вред!

— В старых школах полно безграмотных мулл, оттого и наши дети вырастают неграмотными. Ответь-те-ка на такой вопрос... Почему солнце восходит на востоке и заходит на западе? Это всему миру известно. Только мы не знаем...

— Солнце создал бог, и нас тоже создал господь наш. Не подобает рабам божьим вмешиваться в дела всевышнего, это — святотатство.

— Что же подобает человеку, по-вашему?

— Молитва и мольба...

— Но ведь нельзя провести всю жизнь в молениях! Иначе нам никогда не выбраться из бедности.

— Пока всевышний не пожелает, ни один волос не упадет с головы правоверного. Все в воле всевышнего!

— Но есть еще и другая истина: прыгнешь с крыши,

надеясь на милость Божию, ноги поломаешь... Слышали: в России — революция. И нам надо жить по-другому...

* * *

В ту пору пятница считалась выходным днем.

Было раннее утро, первые лучи солнца золотили окна.

Мударрис* медресе Мир-Араб — Хомид-шейх сидел дома, возле окна, поглядывая во двор, по которому неторопливо расхаживали куры. Высоко подняв плечи, он раскачивался в такт чтению. Его глубоко запавшие глаза светились гневом, что придавало тщедушной фигуре мударриса некую значительность.

Настроение у мударриса было скверное. Вот уж много дней он никак не мог сосредоточиться на чтении корана, в голове вертелись совсем другие мысли — о судьбе дочери.

В то время, когда обычно брали в жены девочек одиннадцати-шестнадцати лет, его двадцатилетняя дочь Назакат все еще ходила в девках. Конечно же, следовало уже давно пристроить ее, но... Вся беда заключалась в том, что на левом глазу Назакат красовалось бельмо величиной с зернышко проса, к тому же она хромала на правую ногу и была слегка горбата. Словом, создатель не поспешил, желая наградить ее уродством.

Собственно, и это еще ничего. Ведь по шарнату жених мог увидеть лицо своей невесты только после свадьбы. Найти подходящего простака и обкрутить его вокруг пальца было бы несложно, если бы... Если бы болтливый мударрис пореже сетовал на уродства дочери и не раструбил об этом на всю округу.

А слово, сорвавшееся с языка, точно птица, выпорх-

* М у д а р р и с (узб.) — духовное лицо.

нувшая из клетки — попробуй, загони ее обратно. И хотя мударрис понимал это, он хорошо знал и другое: во что бы то ни стало надо выдать дочь замуж. Нельзя же всю жизнь держать ее подле себя!

Закончив читать длинный аят из корана, он закрыл книгу, положил ее в нишу и, склонив голову, закрыл глаза.

Сегодня ему полагалось, как и всегда по пятницам, идти на кладбище — навестить души умерших, затем — в мечеть, чтобы прочитать там пятничный намаз, а после — опять коран или молитва... Другие дни недели отличались от пятниц лишь тем, что мударрису еще приходилось давать уроки в медресе.

Хомид-шейх услышал, как со стуком распахнулась дверца в воротах. По двору кто-то прошел, скрипнула входная дверь.

Мударрис поднял глаза и увидел в дверях квадратного, как колода, человека, со склоненной к левому плечу головой. Над его правым плечом маячило узкое и бледное лицо другого. Будто в дверях стояло некое двухголовое чудище.

Это были младший брат Хомида-шейха — Хамид-медник и их племянник Зухурходжа, воспитанник медресе.

— Ассалом алейкум...

— Ваалейкум ассалом...

Мударрис жестом указал на курпачу:

— Милости просим!..

Хамид-медник направился напрямиком к почетному месту и бесцеремонно развалился на подушках. Зухурходжа стеснительно присел на краешек курпачи у ног медника и тут же съезжился.

— Беспорядки в мире повергли людей в уныние,— посетовал мударрис после традиционных приветствий, молитвенно проведя ладонями по лицу.— Даже таким

старикам, как мы, которые одной ногой уже стоят в могиле, похоже, не дадут умереть спокойно...

Медник ничего не ответил. Он вообще был несловоохотлив, бывало, из него клещами не вытянешь фразу. Зухурходжа, твердо усвоивший, что молодым подобает сидеть тихо в присутствии старших, тоже промолчал, но, видимо, ему казалось неприличным молчание дяди, и он натянуто улыбнулся.

— Что-то тебя не видать в последнее время,— обратился к племяннику Хомид-шейх.— Чем это ты занят?

— Я, тогаджан, в медресе...— пробормотал себе под нос Зухурходжа.

Мударрис с важностью кивнул. И тут у него мелькнула неожиданная мысль: «У меня ведь два племянника. А что если выдать Назакат за одного из них? Гляди-ка, как мне до сих пор это не приходило в голову!» Мысль ошарашила своей новизной и осуществимостью. «Если потолковать с Сухробом, согласится ли?!— вспомнил он своего второго племянника. — Зухурходжа — растяпа, такой упустит то, что у него в руках. Вот если бы сделать зятем Сухроба, было бы здорово, не парень, а тигр!»

Взбурдаженный открывшейся возможностью, мударрис снова обратился к племяннику:

— Ты еще хоть изредка заходишь, а вот Сухроб годами не заглядывает. Будто не знает, что у него есть дядя... Ты, случаем, не встречал его?

— Вообще-то... Недавно видел его на улице, тогаджан,— теряясь, проговорил Зухурходжа.— Поздоровался с ним, как подобает, а он только головой кивнул и прошел мимо... С ним еще был один джадид — Халилбек...

— Да, страшные времена, все рушится,— прохрипел мударрис. Ему вспомнилось, как однажды его младшая сестра, мать Сухроба, жаловалась на сына,

мол, «бродягой» стал. А несколько месяцев назад сам мударрис столкнулся на улице с Сухробом и тот обошелся с ним точь-в-точь как с Зухурходжой.

Вспыльчивый мударрис тут же отказался от своей задумки сделать Сухроба зятем, но про себя решил непременно повидать племянника и, если он действительно примкнул к джадидам, как следует побранить его, а то и наказать.

Да, но как быть с дочерью?

«Сделаю-ка зятем Зухура. Хоть он и растяпа, но если повесить ему на шею хомут, глядишь, может, и сам повезет свой воз... К тому же, дочь у меня не красавица, а Сухроб — гордец, все равно не согласится...»

Придя к такому выводу, мударрис обратился к младшему брату:

— Мулла Хамид, я ведь недаром частенько справлялся у вас о наших племянниках. Грустно мне оттого, что так редко их вижу. Видимо, они не понимают, что дядя занимает место семи отцов...

Измученный этими словами дяди, который в жизни не выказывал ему доброты, Зухурходжа вскинул глаза, но тут же, испугавшись встретиться со старшими взглядом, снова низко опустил голову.

— Мулла Хамид,— продолжал тем временем мударрис,— всевышний давно уже вселил в мое сердце один разговор... Что если я стану отцом Зухурходже, соединю его жизнь с жизнью Назакат? Оба они — мои дети...

— И-и... О-го!..— невольно вырвалось у медника. Трудно было понять, что означал этот возглас: то ли насмешку, то ли недоумение, а может, и радость.

А Зухурходжа сейчас походил на барашка, которого собираются зарезать. Втянув голову в плечи, он нервно сжимал пятерней край курпачи, будто хотел спрятаться под нее.

— Даже спасибо не скажешь, болван!— в сердцах воскликнул мударрис своим тонким, писклявым голосом.— Я ведь тебе свою дочь отдать пообещал...

Зухурходжа, еще выше подняв плечи, с трудом приложил к груди неповинующиеся руки:

— Благодарю вас, тогаджан... спасибо...

Когда гости ушли, мударрис поначалу почувствовал облегчение, будто совершил удачную сделку. Но вскоре его вновь охватила смутная тревога. Он подумал о том, что нравы меняются: даже Сухроб сбился с пути истинного. Мударрис знал, что надо идти на кладбище, потом в мечеть, но во что бы то ни стало ему захотелось увидеть и Сухроба. «Кто же образумит его, если не я? Такое дело меня достойно, и я должен исполнить его!»

* * *

О планах Хомида-шейха Сухроб, естественно, не имел ни малейшего представления. Вчера после полудня он возвратился в Бухару из далекого путешествия, вечером пришел в отцовский дом, выпил пиалу чая и уснул крепким сном.

Проснувшись ранним утром, он сел в постели и стал задумчиво оглядывать комнату. В дальнем углу стоял большой, обитый жестью сундук, на стене, на деревянном колышке, висел старый отцовский чекмень, над дверью в прихожую — кинжал... Все в этой комнате напоминало об отце.

За щелкой в створках двери мелькнула неясная тень. Мать! Всякий раз, когда Сухроб приходил домой, она украдкой следила за ним.

Нахмурившись, Сухроб поднялся с постели и пошел в прихожую. Старушка поспешно отскочила от двери и подошла к нише в стене, сделав вид, будто копается в шкатулке с иглками и нитками.

— Хорошо ли поспал, сынок?— дрожащим голосом спросила она.

Сухроб исподлобья взглянул на мать и, ничего не сказав, присел на корточки возле рукомоynика.

Старушка сжалась в углу, не выпуская шкатулку из рук. Хотя она и знала, что по законам шариата «взрослый сын — словно чужой мужчина для матери», но никогда не закрывала перед ним лица. Бесцельно шаря рукой в шкатулке, Иклима-биби задумалась: когда-то ее муж Саид-кузнец кормил семью. Сухроб учился в медресе и помогал отцу. Время было тихое, спокойное. А лет пять назад люди эмира выволокли Саида-кузнеца из дома, объявили его «бунтовщиком» и перерезали горло, словно скотине, на главной площади... С того дня Сухроба словно подменили. Он бросил учебу, кузнечное ремесло, стал бродягой... Куда катится мир?!

Иклима-биби не знала, что творится у сына в душе. Сначала не осмеливалась расспрашивать (кто она такая — всего лишь слабая женщина), а затем поняла, что если бы даже и решилась, он все равно ничего не ответил бы. Старушке пришлось распродать кузнечный инструмент мужа. Старшие братья Хомид-шейх и Хамид-медник годами не справлялись о ней. И когда она думала о своей несчастной жизни, на сердце у нее становилось пусто и уныло. «Что же я буду делать, если и сына потеряю?!» Каждый раз, когда Сухроб надолго исчезал из дома, ей казалось, что он уже никогда не воротится. И хотя он всегда возвращался, сердце у нее все равно сжималось от пугающей мысли: «Вот выйдет опять за ворота, и ищи ветра в поле!»

Она следила, как он садится на дастархан, вяло жует лепешку, пьет чай. Вот надевает кауши, короткий яхтак, повязывает голову чалмой и, не проронив ни слова, идет к двери.

Мать была не в силах больше молчать. Бросилась за сыном, крепко схватила его за рукав:

— Куда же ты, сынок?!

— Пойду навещу отца,— медленно проговорил Сухроб.— Прочитаю пятничный намаз...

— Сынок!— только и прошептала она.

— Я вернусь, бибиджан!— сказал Сухроб, глядя не на нее, а куда-то в сторону, и пошел к воротам.

«Неправда все это, он никогда не говорит мне правды!»— подумала Иклима-биби.

Стоя перед закрытыми воротами, она глянула в щелку на улицу. Опять подумала о своей нищенской одинокой жизни, о безразличии, черствости братьев, о непонятном поведении сына. Бессильно прислонившись головой к воротам, она беззвучно заплакала... Эти ворота были для нее точно тюремная ограда, выйти за которую она не могла. Да и в прошлой своей жизни куда она могла пойти, что сделать? Горькая женская участь...

* * *

Выйдя из дома, Сухроб направился на городское кладбище, разыскал покрытую солончаком могилу под искривленным высохшим тутовым деревом и опустился перед ней на колени.

Перед его глазами вновь отчетливо встала незабываемая картина: на площади огромная толпа, цепочка стражников в воротах Арка, по обеим сторонам от них — вельможи. Над воротами установлен длинный узкий помост, здесь восседает сам эмир со своей свитой. Посреди бурлящей толпы — небольшая открытая площадка, возле которой выкопан глубокий ров. На циновке, разостланной на земле, тощий длиннородый мулла склонился над книгой. Перед циновкой суетятся несколько палачей, перетянутых широкими поя-

сами, с закатанными по локоть рукавами, в остроконечных колпаках. Тут же два осужденных в бязевых рубахах, босые, с непокрытыми головами. Их руки закованы в кандалы, головы обриты. Вот на циновку вывели одного из них — сгорбленного старика. Мулла что-то пробормотал, молитвенно провел руками по лицу, а палачи устремили взоры на высокий помост над воротами. Эмир одной рукой погладил свою черную бороду — это был знак приступить к казни. Палачи согнули старика, задрали рубаху и стали хлестать по спине приговоренного ременными плетями, похожими на их кушаки. Старик несколько раз дернулся и повалился ничком на землю, из уголков рта заструилась кровь. Палачи подняли его, вновь послышался размеренный свист плетей... Когда с ним было покончено, палачи поволокли на циновку второго осужденного — отца Сухроба — плечистого мужчину богатырско-го сложения. И снова мулла провел ладонями по подбородку, снова эмир Алим погладил рукой свою черную бородку. Палачи поставили свою жертву на колени перед глубоким рвом. Один из них удерживал пленника обеими руками за плечи, другой схватил жертву за подбородок, задрал голову и полоснул по горлу острым ножом...

— Отомстить... отомстить!..

Сегодня он тоже не собирался читать молитву.

Поднявшись с колен, Сухроб обвел взглядом это царство усопших. И вдруг... увидел неподалеку человека, похожего на суслика. Стоя на коленях и нелепо поднимая плечи, он раскачивал головой в огромной чалме и читал нараспев коран. Человек этот был очень похож на Хомида-шейха. Сухроб подумал, что не видел дядю уже целую вечность, однако встречаться с ним ему вовсе не хотелось. По правде говоря, Сухроб не очень-

то любил своего дядю, одного из сторонников «ахли уламо»*, убивших отца.

Сухроб вышел на улицу и пошел своей дорогой.

* * *

Мударрис, прочитав короткий отрывок из корана над могилы родителей, тоже огляделся по сторонам. Он заметил высокого ладного юношу, который шел к выходу. Прикрыв ладонью подслеповатые глаза, мударрис попытался разглядеть его получше. Ему показалось, что это Сухроб.

Мударрис засеменял за ним по тропинке, вьющейся между могил.

— Эй... племянник!— крикнул мударрис.— Сухроб... эй!..

Но тот даже не обернулся. Топая короткими ножками в тяжелых каушах, мударрис задумал догнать его во что бы то ни стало.

Но как это сделать, если юноша шагает гигантскими шагами? Мударрис понимал, что ему, представителю улема, не пристало кричать во весь голос на улице, но от своего намерения догнать Сухроба не отказался. Две мысли вертелись в его мозгу, словно назойливые мухи: во-первых, поговорить с племянником начистоту о его бродяжничестве, выбрать как следует и, если потребуется, пустить в дело посох; а во-вторых, все же попытаться закинуть удочку насчет Назакат, вдруг клюнет! Уж тогда бы он сказал Зухурходже: «Пошел прочь, болван, одурел, что ли, тоже мне, жених!»

«В такое время выдать дочь замуж — не шутка,— думал мударрис. — Недаром Зухур так ошалел! Может, и Сухроб поведет себя не лучше? Но если он сбился с пути истинного, я направлю его на этот путь...»

* «Ахли уламо» (узб.) — духовенство.

Мударрис еще не знал, что он сначала скажет Сухробу. Он продолжал семенить за племянником с этими двумя противоречивыми мыслями. Но вскоре мударрис запыхался и невольно замедлил шаг. Вдруг ему показалось, что парень пошел медленнее. Собрав последние силы, мударрис прибавил ходу.

Теперь расстояние между ними сократилось до двадцати шагов. Но идти быстро по многолюдной улице было и неприлично, и тяжело. А Сухроб внезапно исчез из виду, растворился в людском потоке. Говорят ведь: «От пристального взгляда казан с водой все равно не закипит». Коротышка-мударрис суетливо бросился в один переулок, в другой, но тщетно.

«Домой к нему схожу, а все равно найду!» — подумал мударрис. Дойдя до перекрестка, он свернул в узенькую, кривую улочку.

* * *

На одном из поворотов мударрис едва не столкнулся с встречным прохожим, в котором без труда узнал муллавачи — воспитанника медресе, которому «давал уроки». Это был типичный «вечный студент», который околачивался в медресе уже лет десять — ведь срок обучения в этой «обители знаний» не был строго обозначен и потому здесь встречались двадцатипяти-тридцатилетние переростки. Он давно жил в одной из худжр* медресе, но даже имени его толком не знали, в том числе и мударрис. Все его звали «Рыжим», за цвет волос, и, похоже, он сам давно привык к этой кличке.

Когда рыжий остановился и почтительно поздоровался, мударрис, напустив на себя важный вид, ответил на приветствие.

* Х у д ж р а (узб.) — комнатка, келья.

— Поздравляю вас с нынешними делами, устод!— сказал Рыжий.

«Тот, мямля Зухур, однако, быстро раструбил...»— подумал мударрис и неохотно пробурчал:

— Еще ничего не ясно...

— Как не ясно?! Указ уже вышел, устод! Эмир выступил...— таинственно прошептал Рыжий.

— Какой такой указ? Клянусь богом, я ничего не знаю,— сгорая от любопытства, Хомид-шейх схватил рыжего за рукав халата.

— Указ о реформе, устод!

Джаиды — противники старого уклада — уже давно требовали от эмира реформ, отмены нелепых порядков, царящих в учреждениях и учебных заведениях. Открыто велись разговоры о том, чтобы ввести в медресе, где господствовало исключительно религиозное обучение, светские науки, открыть новометодные школы... Чтобы несколько успокоить «молодых бунтовщиков», утихомирить разбушевавшиеся страсти, эмир Алимхан издал указ, где шел на некоторые уступки. Алимхан яростно ненавидел молодежь, осмелившуюся бросить вызов его безграничной власти.

Более того, он надеялся этим своим указом разгневать сторонников старых порядков и их руками подавить «бунт».

— Мерзкие мальчишки! Вероотступники!— глаза мударриса налились кровью, он весь дрожал от охватившего его гнева.

— Что вы так разозлились, устод?!— удивился Рыжий.— Мне тоже сначала не понравилось все это. А теперь, гляжу, совсем другое дело...

— Какое ты имеешь об этом понятие, подлец!— завизжал мударрис, теряя самообладание.— Мерзавец! Дурак! Ты думаешь, что если сегодня юнцы схватили нас за горло, то мы не сумеем их задуть?!

— Э-э, устод, э... — ничего не понимая, промямлил Рыжий.

Эти неопределенные звуки Хомид-шейх воспринял как насмешку над собой. Он поднял посох с острым железным наконечником.

— Прочь, не то я вышибу мозги из твоей глупой башки!

Но Рыжий почему-то совсем не испугался этой угрозы. Ухмыльнувшись, он спокойно отошел в сторону и тихо произнес:

— Ай, устод, ай...

Хомид-шейх кипел от гнева. Идти в таком состоянии к Сухробу было бессмысленно. Он направился напрямик в медресе Мир-Араб.

«Юнцы одержали верх! Невежды смеются над нами!» — неотступно стучало в висках. Он решил разведать настроение других воспитанников. Неужели все, подобно Рыжему, радуются указу?!

Хомид-шейх подошел к медресе Мир-Араб, что покоилось в тени минарета Калян. Поднявшись по маленьким каменным ступенькам, он вошел через большие ворота в полутемный коридор, вдоль которого тянулись худжры, и вышел во внутренний дворик, вымощенный камнем. Здесь он увидел группу воспитанников, которые играли в шахматы. При появлении мударриса они поднялись и, почтительно сложив руки на груди, поздоровались. Многие улыбались, по всему было видно, что настроение у них неплохое.

— А чему это вы так радуетесь? — спросил мударрис первое, что пришло ему в голову.

— Сегодня же пятница, устод, — ответил ему шупленький, симпатичный воспитанник.

Мударрис не нашелся что ответить. Пятница — праздничный день, мусульмане должны ему радовать-

ся. Кроме того, по пятницам занятий в медресе не бывает, воспитанники ходят в баню, отдыхают.

— В такой день не пристало играть в шахматы,— упрямылся мударрис.— По пятницам надо совершать богоугодные дела: посещать кладбище, читать коран.

— Хвала вам, угод!— сказал шупленький муллавачи, а затем произнес по-арабски: «мин муслиматун...», что означало «раб божий по недомыслию своему грешит порой».

Мударрис растерялся. Оглядевшись кругом, он увидел, что двери многих худжр были заперты — стало быть, воспитанники слоняются по улицам, «треплют языками». Он разозлился, однако понял, что сейчас бессмысленно наводить порядок. К тому же, утешал он себя, таких никудышных, как Рыжий, должно быть, не так уж много, гораздо больше правоверных и истинных мусульман. Их время еще придет! Мысль эта несколько ободрила его. А увидев, что воспитанники принялись собирать шахматные фигурки в мешочек, он почувствовал себя еще увереннее...

Вечером в эту же пятницу, так не похожую на все другие, Хомид-шейх снова задумался о судьбе Назакат. «С самого начала нельзя было надеяться на Сухроба,— думал он.— Чует мое сердце, этот мальчишка сбился с пути истинного. Зухур — вот подходящий жених, хоть и растяпа...»

* * *

А теперь вернемся к Хамиду-меднику и Зухурходже, которые, покинув мударриса, увидели на улице необыкновенное скопление народа. Вскоре они прослышали, что эмир издал важный указ, что молодежь Бухары повсюду устраивает сходки, а муллы собирают своих сторонников. Но, похоже, дядю и племянника все происходящее нисколько не интересовало, они

даже между собой словом не обмолвились и, хотя до намаза еще было много времени, прошли в мечеть. Здесь медник, скрестив на груди руки и опустив кривую голову, задремал, как человек, не спавший много ночей подряд. А Зухурходжа, поджав под себя ноги и шевеля губами, забормотал аяты из корана.

Постепенно стал собираться народ. Как обычно, муэдзин с минарета призывал правоверных на молитву. Дамла-имам прошел к полутемному и днем михрабу, по обе стороны от которого в нишах горели свечи, и стал читать намаз. Верующие вслед за ним шепотом повторяли аяты, стоя на коленях и касаясь лбом пола. Так повторилось несколько раз.

— Ё архамар рохимин... омин!

Завершающиеся слова молитвы прозвучали чуть громче, муллы повторили их, чтобы донести до слуха каждого.

Домла-имам взошел на минбар и сел, поджав под себя ноги. По обыкновению, каждую пятницу он читал проповеди. Сегодня он долго рассказывал хадисы* про рока Мухаммада, а в конце коснулся сегодняшнего указа эмира и реформы.

— В указе его светлости эмира сказано,— он взял лист бумаги, лежавший в книге на краю минбара, и прочитал:— «Довести до сведения всех наших подданных, что все перемены, намеченные быть во всех учреждениях власти и просвещения, будут согласны с законом шарната...»— он добавил: — Известно, что все дела и деяния его светлости были мудрыми и добрыми, направленными на укрепление устоев ислама. Так будет и впредь...

Народ начал расходиться.

Хамид-медник и Зухурходжа вышли из мечети

* Х а д и с ы — наставления.

последними и, пройдя вдоль древней стены, оказались снова на улице. Молча они направились по улицам, заполненным бурлящей, беспокойной толпой, к Лябихаузу. Здесь все гудело, словно растревоженное осиное гнездо. Хауз был до краев заполнен водой. На ее поверхности плавали сломанные ветки растущих вокруг тутовых деревьев, листья, разный сор. Водоносы-мешкобы, в заплатанных, туго подпоясанных халатах наполняли водой бурдюки. Они ходили по всему городу и вместе с затхлой, зеленоватой водой разносили ришту и множество других болезней, от которых на теле появлялись гнойные язвы...

— Пошли ко мне,— неожиданно предложил медник племяннику.— Пнем разок этот вопючий мир...

— Что вы такое говорите, тогаджан?!— изумился Зухурходжа.

— Ко мне пошли, говорю, я ведь тебе тоже дядя...

— Тогаджан, а может, ко мне в худжру...— проворчал Зухурходжа, немного осмелев, и указал в сторону медресе Кукельдаш.— Там прохладно, тогаджан, там очень хорошо.

— Ко мне пошли, я же сказал!— резко приказал медник.— Не тяни резину, экий ты нудный, оказывает-ся. Я в твоей худжре не помещусь, мне простор подавай...

Не сказав больше ни слова, он двинулся вперед. Зухурходжа, словно ему на шею повесили ярмо, медленно, но покорно поплелся следом.



Хамид-медник жил одиноко на балхане, куда вела крутая деревянная лестница. На полу лежали одеяла, из которых торчала вата. Посреди комнаты стоял грубый сандал, на котором лежал медный поднос с за-

плесневшими кусками лешки, в беспорядке громоздились немытые касы и пиалы.

Зухурходжа не бывал у медника уже лет шесть. Но оказавшись сегодня его гостем, не увидел в комнате ничего нового. Он и здесь скромно уселся на краешек курпачи, подумав про себя: «Дяде сегодня захотелось поговорить, а раз уж он разговорился, то теперь целый день от меня не отвяжется!»

Медник, и в самом деле, улегся поудобнее и завел разговор о старшем брате, называя его почему-то не «ака», а «шейх».

— Обрадовал тебя шейх... Говори, обрадовался ты, а?!

После этих прозвучавших откровенной издевкой слов, вдруг захотелось излить дяде всю свою горечь.

— Тогаджан, дядя Хомид-шейх оказал мне великую милость,— заговорил он.— Сколько парней прожили жизнь, так и не узнав, что такое семья. Я это знаю... Но мне непонятно, тогаджан, почему они, никогда не любившие меня, стали вдруг такими добрыми... Верно, дочь у них не красавица, однако не выдавать же ее за первого встречного...

Он сделал паузу, ожидая, что скажет медник. Но тот не отозвался, и Зухурходжа продолжал:

— Тогаджан, они очень вспыльчивые, так мучили меня. Последний раз я был у них месяц назад. Случилось так, что разговор зашел о молодежи. Они бранили всех подряд. А я им говорю, мол, зачем же так, все в руках божьих! Тогда они набросились на меня и прогнали со двора... А теперь...

Зухурходжа глубоко вздохнул. Опять сделал паузу и вновь не получил ответа.

— Я не зря вам все это говорю. Расскажу-ка я вам о том, о чем никому еще не рассказывал... Однажды с другими муллавачи я совершил паломничество к Бе-

хауддину-исцелителю. Вы знаете, там каждый год проводится сайль «Гули сурх»*. И тогда тоже был сайль. Люди, желая себе потомства, богатства, здоровья, привязывали к шестам тряпки, резали баранов, пили воду из колодца возле могилы святого... Так прошел день. А вечером мы — муллавачи, легли спать на айване мечети. Прежде чем заснуть, я о многом передумал, расстронлся... Почему я так рано лишился родителей? Почему приютившая меня бабушка тоже умерла вскоре? Почему я, как бездомный, живу в маленькой, темной худжре? Размягчив сердце своими печальми, я вдруг уснул, словно дитя, тогаджан... И вдруг вижу, будто лежу я не на айване, а в какой-то маленькой комнате, прямо на земляном полу. Неожиданно дверь в комнату отворилась и стало светло, как днем. Глянул я на дверь, а на пороге стоит высокий старец в белой чалме, седобородый, с ласковыми глазами, и держит свечу в левой руке. Когда он вошел в комнату, я сразу вскочил с места и поздоровался с ним.

— Не бойся!— говорит тот старец, подняв правую руку.— Я — Бехауддин!

Я бросился ему в ноги, схватил его руку и провел по ней глазами. А он взял меня за плечо, поднял с пола и погладил рукой по голове.

— Не горюй,— сказал он.— Если у бога один день темный, то другой — светлый. Все в воле божьей. Об этом и в коране сказано!..

Когда я проснулся, было уже утро. Я быстро совершил омовение, пошел к гробнице чудотворца и со слезами поцеловал каждый камень на его могиле. Меня увидел ишан и сказал: «Какие у тебя нынче просветленные очи, сын мой». Тогда я рассказал ему свой сон. А ишан сказал: «Бехауддин одарил тебя вниманием,

* Сайль «Гули сурх» (узб). — праздник весны.

только ты никому об этом не рассказывай». И я никак не могу забыть слова, которые святой сказал мне во сне: «Все в воле божьей»... А старший дядя, едва об этом заговоришь, тут же рот затыкает...

Зухурходжа посмотрел на мохнатые брови, обветренное лицо и спутанную бороду медника. А тот, как обычно, склонил голову к плечу и сидел, будто глухо-немой, вроде и не слышал слов племянника.

— Тогаджан, почему вы ничего не говорите?!— не выдержал Зухурходжа, чуть не плача.

Медник ухмыльнулся и заговорил с издевкой в голосе:

— Ну и пустомеля ты, оказывается! Спросишь о пустяке, а ты такое наговоришь! Но если ты хочешь узнать мое мнение обо всем этом, то я тебе отвечу, что мне нет никакого дела ни до шейха, ни до джадидов... Вот ты говоришь — Бехауддин, а ведь он был таким же девоной*, как я.

Умолкнув, медник засунул руку в сандал и вынул оттуда небольшой глиняный кувшин. Поставив его на поднос, он блаженно улыбнулся.

— Не приучайся много говорить!— сказал наполовину в шутку, наполовину в назидание. — Хай! Кто старое помянет, тому глаз вон! Мы же пришли сюда, чтобы пнуть разок этот вонючий мир...

Медник вытащил бесцветную тряпку, которой был закупорен кувшин. Вытерев рукавом яхтака пиалу, стоящую на подносе, он наполнил ее какой-то булькающей красноватой жидкостью. В нос Зухурходже ударил резкий запах.

— А это... не буза ли? Что... это, тогаджан?— глаза у Зухурходжи нервно забегали, он даже отпрянул на-

* Девона (узб.) — юродивый.

зад.— Не пейте... тогаджан, коран считает это запретным... Грех...

Медник, сморщившись, протянул пиалу племяннику:

— На, родственничек, сперва ты выпей... Я человек неторопливый.

— Нет-нет, я, тогаджан, вообще не пью... И вы не пейте, умоляю вас, тогаджан... Бог все видит,— поспешно, но несмело проговорил Зухурходжа.— Коран запрещает это...

— Э, мало ли что запрещает коран! Ведь это — виноградный сок! Разве он запрещен, а?— с ухмылкой произнес медник. Затем, опять сморщив лицо, придвинул к себе пиалу, косо уставился на нее, поднял ко рту и отпил большой глоток. Когда он повторил это три или четыре раза, Зухурходжа хотел было подняться, но не смог и, будто больной, стал медленно раскачиваться на месте.

— Тога, пойду я...— проговорил он шепотом.

Медник молчал.

— Тога, пойду я...— повторил Зухурходжа.

— Да ты к тому же и капризный, минуты не можешь посидеть спокойно!— проворчал медник.— Думал сделать из тебя человека, а теперь вижу, ничего не выйдет...

Он заткнул горлышко кувшинчика тряпкой и сунул его в сандал.

— Хай! Вот что мы сделаем... Пойдем-ка опять на улицу, не пьешь, так не пей, погуляем немного вместе.

Глаза Зухурходжи беспокойно забегали.

— Нет-нет, тога, я...

— Пошли!— решительно приказал медник.— Какой же ты все-таки нудный...

Они вышли на улицу. Спустились сумерки, улицы опустели, время от времени вдали слышались крики мир-

шабов — стражников эмира, иногда с грохотом проезжали крытые фаэтоны.

Зухурходжа шел, поглядывая украдкой на дядю, и, похоже, думал только о том, как бы улизнуть. А медник, покачивая своей тяжелой головой, поглядывал иногда на племянника налитыми кровью глазами.

Они достигли окраины города. Перед невысокими старыми воротами медник замедлил шаг, затем толкнул их рукой.

Втащив племянника внутрь, он затворил за собой ворота. Двор, в котором они очутились, напоминал караван-сарай, но, странное дело, по нему ходили, суетились, хлопотали простоволосые женщины с открытыми лицами.

Зухурходжа, не выдавший до сих пор женского лица от изумления раскрыл рот. В вечерних сумерках эта картина показалась ему сном.

— Пошли, сядем...

Увидев, что медник сел на край длинной тахты из струганных досок, Зухурходжа присел на другой ее конец, продолжая ошарашенно оглядывать двор.

В дальнем его конце у кривого столба стояли две женщины, о чем-то переговариваясь. Одна из них была высокая и тощая, вторая — толстенькая коротышка. Вдруг... высокая глянула в их сторону и, подтолкнув рукой толстушку, глазами указала на них. Толстушка направилась прямо к ним. Она подошла к меднику и улыбнулась, обнажив мелкие белые зубы. На ней было цветастое платье, в широком вырезе которого мелькали овалы груди. С неожиданной ловкостью она обняла медника за шею и уселась к нему на колени.

Зухурходжа стыдливо отвел глаза и обнаружил, что рядом с ним стоит тощая подруга толстушки в черном платье выше колен.

Женщина поглядывала на него с любопытством.

Затем ее глаза кокетливо прищурились, на губах заиграла улыбка. Она подошла совсем близко... Зухурходжа, не выдержав взгляда ее густо накрашенных сурьмой глаз, втянул голову в плечи. Маленькая, худая рука женщины легла на его колено и вдруг... ущипнула его.

Зухурходжа невольно взглянул в смеющиеся глаза женщины и, соскользнув с высокой тахты, опрометью кинулся прочь, не чувствуя под собой ног. Когда, спотыкаясь, он подбежал к воротам, то услышал не окрик дяди, как ожидал, а громкий издевательский хохот.

Он бежал до самого Ляби-хауза и только там остановился, тяжело дыша. На улице было пусто и тихо, слышался лишь шорох ветвей, покачиваемых легким вечерним ветерком... Он подумал, что побывал, должно быть, в той самой «исловотхоне», о которой краем уха слышал от других воспитанников медресе... Чуть отдышавшись, он быстро пошел в медресе Кукельдаш.

* * *

Худжра, в которой жил Зухурходжа, ничем не отличалась от других таких же клеток в мечетях и медресе. Темный, сыроватый закуток без окон, с гладким куполообразным поголком, с крошечным отверстием в стене.

Зухурходжа растянулся на постели, расстеленной вдоль массивной каменной стены. Он лежал, бессмысленно уставившись на желтоватый свет луны, пробиравшийся сквозь зарешеченное отверстие.

События сегодняшнего дня вихрем пронеслись перед глазами. Старший дядя, с виду такой тщедушный, а как важно ходит, говорит, покрикивает! Теперь вот дочь собирается отдать за него, стало быть, вскоре надо окончательно смириться с его сварливым, болтливым нравом. А младшего дядю он до сих пор и не знал

как следует, а тот, оказывается, пьет запретную бузу, да к тому же — развратник... Оба они чужие, и Сухроб тоже чужой, и другие родственники, и мударрисы, и муллавачи — тоже все чужие!

Зухурходже казалось, что худжра стала еще теснее, что толстые стены вот-вот сдавят его. Должно быть, немало людей, живших в этой худжре, тоже, отчаявшись, лежали на этой постели и горестно глядели на желтоватый лучик лунного света. Так было и пятьдесят, и сто, и триста лет назад. Так было всегда!

У Зухурходжи защемило сердце. Может, ему удастся вырваться из этой тесной худжры? Дом, дети... Но как избавиться от тоски и уныния, которые, словно тиски, сжимают сердце?! Впереди тоскливая, ненужная, полная бессмысленных хлопот жизнь...

* * *

Бунтарские настроения появились в среде бухарской молодежи еще во времена правления Ахадхана — отца нынешнего эмира. В ту пору многих «юнцов» отправляли в далекие города Востока и России «поглядеть мир», и, возвращаясь, те привозили в Бухару газеты, запрещенные книги. Возникали легальные, а также тайные школы, которые посещали даже пожилые люди. Передовая молодежь считала, что пришло время «немного открыть глаза народу», вложить в его руку «источник света». Начали выходить газеты «Бухорон шариф» и «Турон», однако власти быстро их закрыли. И все же движение за новые порядки постепенно набирало силу. Тем не менее единства среди бухарской молодежи не было.

В этот день Сухроб успел побывать и у Ляби-хауза, и у Регистана, и на других больших площадях города. Повсюду собиралась молодежь. Здесь были и члены

подпольной организации, и те, кто вообще считал себя «современным», и просто любители погорланить, поскандалить. Одни говорили, дескать, эмир издал указ, скандал окончен, наше дело выграно! Другие требовали провести демонстрацию, а третьи предлагали выразить эмиру благодарность за указ!

Наступил вечер...

Сухроб отправился в дом к одному из учителей новой школы, «дамле-татарину», чтобы поговорить, поделиться своими мыслями.

Маленький, бородатый учитель сидел на краю высокой супы и беседовал с давним знакомым Сухроба Халилбеком. Втроем они сели на коврик, расстеленный на супе. Сухроб без обиняков спросил учителя, какого он мнения о нынешнем положении.

— Народ поднялся на ноги...— сказал старик, добавив, что указ разделил бухарцев на два лагеря, что сегодня все поднялись и всколыхнулись.

— Воспользовавшись указом, мы попробуем выйти на улицы,— насупившись, решительно произнес Халилбек.

— Тогда... столкнутся два лагеря и прольется много крови,— заметил Сухроб.

— Мы потребуем от эмира, чтобы изменения проводились незамедлительно!— сказал Халилбек.

— Человек не может одновременно идти по двум улицам,— пронически засмеялся Сухроб.— Не тащите эмира на свою улицу. Указ этот — простая бумажка...

— Указ — это доказательство того, что эмир был вынужден пойти нам на уступки,— возразил Халилбек.— И мы должны закрепить успех, провести демонстрацию.

— Эмир будет стрелять в народ. Он на стороне мулл и ишанов.

— Вы просто питаете ненависть к эмиру,— сказал Халилбек.

— А мне не за что любить его,— ответил Сухроб.

Обычно вялое лицо Халилбека в этот вечер просветлело, в маленьких глазках горели победные искорки. Однако Сухроб не разделял его оптимизма.

— Я побывал во многих русских городах,— мягко сказал он.— Там знают, что ждать милости от царя бесполезно... А мы все уповаем на нашего эмира...

— Условия везде разные,— уклончиво ответил Халилбек.

Они распрощались, так и не придя к согласию. Что касается учителя, он вообще не проронил больше ни слова.

Вернувшись домой, Сухроб устроился на ночлег во дворе.

Но сна не было. Высоко в небе плыла луна, казалось, она вот-вот сядет на крышу дома. Сухроб поднялся с постели и оделся. Заткнув кинжал за пояс, он тихо, чтобы не беспокоить мать, вышел со двора.

На ночных улицах стояла глубокая тишина. Лишь вдоль торговых лавок ходили сторожа. Завидев издали прохожего, они протяжно окликали:

— Кто иде-ет...

Сухроб знал хороший ответ для сторожей:

— Дру-уг!

Заложив руки за спину, он шел из одного гузара в другой и думал, что эта стычка между молодежью и муллами совсем не похожа на революцию, о которой в последнее время так много говорили. Вместе с тем он хорошо понимал, что очень многие молодые люди, ждавшие от эмира, который перерезал горло его отцу, милости, были довольны его указом — простой бумажкой...

В эту тихую ночь Сухроб отыскал лазейку в кре-

постной стене, чтобы в случае опасности выбраться из города. Это был грязный ров, по которому вода из затхлого хауза текла в степь.

Затем он отправился на кладбище и долго сидел у могилы отца.

...Заалел горизонт, показалось солнце.

Вскоре Сухроб был у Ляби-хауза. Здесь с раннего утра собралась молодежь. Многие были охвачены тем же настроением, что и Халилбек вчера. Повсюду слышались громкие возгласы и призывы.

Вот толпа, неся знамена, двинулась к Арку. И тут же навстречу демонстрантам из улочек и переулков, из тесных гузаров потекли толпы улемов и их сторонников

— Бе-ей!

Началась свалка. В воздухе засверкали ножи, кинжалы, замелькали палки.

Как по команде, появились конные сарбазы* эмира, чтобы «навести порядок». Джадидов давили лошадьми, сбивали с ног, хватали...

Сухроб вытащил кинжал из ножен. В этот момент он увидел неподалеку тщедушного человечка с пылающим взглядом, который быстро пробирался к нему Сухроб узнал своего дядю Хомида-шейха. Тот поднял над головой палку и кинулся на него с возгласами: «Ах, это ты, кяфир!», полагая, видимо, что племянник не посмеет защищаться. Сухроб легонько потеснил его, но и этого оказалось достаточно, чтобы тщедушный мударис отлетел в сторону шагов на пять.

А Сухроб уже схватился с наступавшими сарбазами. Его рослая фигура высилась над толпой, стражники один за другим валились на землю. Но их было слишком много.

* С а р б а з (узб.) — воин, стражник.

Сухроб чувствовал, что кольцо вокруг него сжимается. Тогда он стащил одного из сарбазов с коня, сунул ногу в стремя... и, вскочив в седло, поскакал по улице...

...Сухроб одиноко брел в широкой степи, покрытой колючками и увядшими от жаркого весеннего солнца маками. Губы его шептали:

— Кровавый эмир, не думай, что все кончилось... жди меня... я обязательно вернусь...

* * *

С утра Хомид-шейх почитал немного коран, затем склонил голову и закрыл глаза. Когда с улицы донесся неясный шум, мударрис насторожился, прикидывая, что могло случиться. Во дворе послышались чьи-то шаги, скрипнула входная дверь.

Мударрис поднял голову и увидел на пороге трясущегося Зухурходжу.

— Проходи, сын мой,— милостиво произнес Хомид-шейх.

Зухурходжа сел, как обычно, у входа, на самый краешек курпачи.

— Проходи сюда, если сядешь поближе, разве с тобой что случится?— пожурил его мударрис.

Зухурходжа чуть придвинулся.

— Тогаджан, вы в медресе не пойдете?— тихо спросил он.

— Никуда не хочется идти,— заныл мударрис.— Слаб я стал что-то...— В это время шум на улице снова усилился.— Что там такое?

— А вы разве не знаете, тогаджан?— прошептал Зухурходжа.— Джадиды вышли на улицу со знаменами... Сейчас они дерутся с муллами...

— А ты не врешь?— прохрипел мударрис, подняв плечи.

— Нет. Это правда, тогаджан,— несмело — стал разъяснять Зухурходжа. Глаза у него забегали.— Утром я пошел на базар починить кауши. Гляжу, у Ханакки Диван-биги собралась толпа мулл... Гляжу, на улице полно джадидов... Среди них и Халилбек... Пришел на базар, починил кауши, возвращаюсь назад, а перед медресе тоже толпа... Ну, я и прибежал к вам, тогаджан...

— Почему же ты сбежал оттуда, почему?!— вдруг завизжал мударрис. И с неподобающей его почтенному возрасту проворностью вскочил с места. Затем стащил с головы чалму и бросил на пол. Кинулся к двери. Добежав до порога, оглянулся, схватил свой посох с острым наконечником и крикнул Зухурходже:

— Нет тебе моей дочери, болван! Чтоб я стал отцом такому мерзавцу как ты?! Прочь, прочь с глаз моих, подлец! Без веры, без совести...

С этими словами мударрис выбежал из дому.

Зухурходжа, придерживая полы своего халата, долго смотрел на дверь. Затем раскрыл руки в молитвенном жесте:

— Смилуйся надо мной, всевышний!.. Ладно, пусть обрушатся на меня страдания, но я не без веры, не без совести. Боже, я знаю, все будет так, как ты захочешь... Смилуйся!..

Проведя ладонями по лицу, он поднялся с курпачи, не спеша вышел на улицу и побрел куда глаза глядят, прячась от солнца в тени дувалов.

* * *

На улицах царил суматоха, лавки были закрыты, повсюду слышались жуткие вопли.

! — Да кто он такой, бунтовщик, желающий вмешаться в дела всевышнего?!

— Шарнат попирать? Что, бог для вас игрушкой стал?!

— Бе-ей!

Все это увидел, выбежав из дома, Хомид-шейх. Он увидел джадидов, большинство из которых были безоружными и защищались голыми руками.

С диким воплем он кинулся в это бурлящее людское море и перед его подслеповатыми глазами замелькали чалмы, жалаты, руки, лица...

Мударрис поднял посох и опустил его на голову какого-то парня. Тот зашатался и повернулся в его сторону. Мударрис увидел бледное лицо и глаза, горящие возбуждением. В ушах прозвучали слова Зухур-ходжи: «Там был и Халилбек». «Это ты, окаянный, с утра бегаешь по улицам?»— сказал про себя мударрис. В этот момент с другой стороны улицы послышался возглас «Бей!». Быстро обернувшись, Хомид-шейх увидел Рыжего, у которого чалма сползла на шею. Снова замахнулся посохом, и тут кто-то так сильно толкнул его, что мударрис рухнул на распростертого на земле Халилбека. Где-то совсем рядом проскакал всадник.

Хомиду-шейху показалось, что это был Сухроб и что именно Сухроб отшвырнул его в сторону. Но так ли это? Во рту появился неприятный солоноватый привкус, его затошнило, все тело пронзила острая боль, и мударрис, вцепившись в труп Халилбека, почувствовал, что теряет сознание.

А людской поток напоминал взбесившуюся реку, бегущие топтали упавших.

* * *

Вдруг мударрис, словно в густом тумане, увидел две пиалы, доверху наполненные кровью, а выше — толстую черную линию, будто сдвинулись чьи-то грозные брови. «Должно быть, Азраил!»— подумал мудар-

рис. Ему захотелось вскочить с места и бежать. Но он не мог и пошевелиться, хотя чувствовал, что его поднимают с земли. Потом перед глазами смутно проплыли дверные кольца, дувалы, стены... Тот, кого мударрис принял за Азраила, вошел в густую тень. «Могила... конен!»— подумал он. В этот момент в его ушах слабо прозвучал чей-то ворчливый голос:

— Какого черта старый дурак так трепыхался... Подыхай теперь!

«Что он так ругается,— подумал мударрис.— По голосу напоминает Хамида. Так Азраил это или Хамид?!»

Послышались причитания женщины, похожей на его жену:

— Ой, покинул меня, родной мой...

Тот, кто бранился, снова пробурчал:

— Чего голосить! Не думай, такой быстро не подохнет.

Потом заговорил чуть мягче:

— Гляжу, а он валяется под ногами, поднял его, думаю, не поднять, так помрет... Старый дурак, и какого черта так трепыхался?!

* * *

Многие из тех, кто ожидал милости от эмира, сложили свои головы в ту черную субботу. Другие, побросав свои дома и имущество, бежали из Бухары куда глаза глядят. А те, кто попался в лапы эмирским сарбазам, были брошены в затхлые зинданы под крепостной стеной или в темницы Арка. Избитых, окровавленных, их ожидали плети, виселица, смерть.

Наступила мрачная, безнадежная ночь.

Покойники, вопли и плач, страх и тревога стали незваными гостями во многих семействах. Во дворах мечетей стояли ненасытные тобуты-гробы, ожидая тех,

чья жизнь оборвется не сегодня так завтра. С улиц разносили по домам бесчувственных улемов, у табибов работы было невпроворот.

...Колеса эмирской власти, подмяв под себя молодых бухарцев, породили не только стоны отчаяния, но и жгучую ненависть.

...А через пять месяцев из далекой России донесся до древней Бухары отголосок грома великой революции. Еще через три года революция пришла в саму Бухару, дав начало другой, свободной жизни...



СОДЕРЖАНИЕ

Сестры. Перевод А. Атакузиева	3
Путешествие в детство. Перевод А. Атакузиева	9
Волшебник. Перевод А. Атакузиева	28
Карима. Перевод А. Гожко	38
Бусы. Перевод А. Гожко	48
Заблудились. Перевод А. Атакузиева	54
Дочери Ахмада-ака. Перевод А. Атакузиева	62
Городская невеста. Перевод А. Атакузиева	67
Старики. Перевод А. Атакузиева	72
Стужа. Перевод А. Гожко	85
Птицы и сны. Перевод А. Атакузиева	90

Мухтаров Аман.
М 92 Волшебник: Рассказы/Пер. с узб. А. Атакузиева, А. Гожко/.— Т.: Ёш гвардия, 1986,—128 с.

Разнообразна тематика рассказов, вошедших в сборник известного узбекского писателя Амана Мухтарова: здесь и события в предреволюционной Бухаре, и нелегкие послевоенные годы, и сегодняшний день... Но о чем бы ни писал автор, его прозу отличают тонкий лиризм, искренность, любовь к родной земле.

«Волшебник» — первая книга Амана Мухтарова на русском языке.

Уз2

МУХТАРОВ АМАН СУЛЕЙМАНОВИЧ

ВОЛШЕБНИК

Рассказы

Рецензент К. АКСЕНОВ, член СП СССР

Редактор В. Нечипоренко

Художник К. Талипов

Художественный редактор Р. Зуфаров

Технический редактор В. Демченко

Корректор Р. Назиржанова

ИБ № 1904

Сдано в набор 30.06.86. Подписано в печать 8.12.86.
Формат 70×108¹/₃₂. Бумага № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Печ. л. 4,0. Уч.-изд. л. 5,26.
Усл. печ. л. 5,60. Усл. кр.-отт. 5,95. Тираж 50.000.
Цена 15 коп. Договор № 71—86. Заказ № 4350.

Издательство ЦК ЛКСМ Узбекистана «Еш гвардия»
700129, Ташкент, ул. Навои, 30.

Ордена Трудового Красного Знамени типография
издательства ЦК КП Узбекистана, Ташкент,
ул. Ленина, 41.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ЛКСМ УЗБЕКИСТАНА «ЁШ ГВАРДИЯ»
В 1986 ГОДУ ВЫПУСТИЛО СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Н. А. Кун.

«Легенды и мифы Древней Греции».

«Солнце детства моего».

Антология детской узбекской поэзии.

«Волшебный цветок».

Узбекские народные сказки.

Вильям Александров.

«Спасатель»

Повести.

Исфандияр.

«Возвращение»

Роман

Николай Красильников.

«Здравствуй, Колумб»

Рассказы, сказки, миниатюры.

Анатолий Коновалов.

«Волшебная коробочка»

Сказка.

Сухроб Мухамедов.

«Лунный свет в живой воде»

Повести, рассказы.

Зоя Туманова.

«След в пыли»

Повести, рассказы.

**В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ЦК ЛКСМ УЗБЕКИСТАНА «ЕШ ГВАРДИЯ»
В 1987 ГОДУ ВЫЙДУТ КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:**

Жюль Верн.
«Пятнадцатилетний капитан».
Роман.

«Дорогами сказок».
Сборник сказок народов СССР.

«Встреча».
Сборник стихов молодых поэтов Узбекистана.

«Аладдин и волшебная лампа».
Арабская народная сказка.

Федор Камалов.
«Как быть Гераклом».
Повести, рассказы.

Валерий Нечипоренко.
«Зимний отпуск».
Повести.

Раим Фархади».
Праздник
Стихи.

Абдухаким Фазылов.
«Судьбы вертящееся колесо».
Фантастические повести.